

Ц Е Н А

П О Б Е Д Ы

Р О С С И Й С К И Е

Ш К О Л Ь Н И К И

О В О Й Н Е



**Ирина Викторовна Щербакова**  
**Цена победы. Российские школьники о войне. Сборник работ победителей V и VI Всероссийских конкурсов исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век»**

*Издательский текст*

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3084065](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3084065)

*Цена победы. Российские школьники о войне. Сборник работ победителей V и VI Всероссийских конкурсов исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории.*

*Россия – XX век»: Мемориал; Новое издательство; М.; 2005*

*ISBN 5-98379-045-5*

**Аннотация**

Книга объединяет работы российских школьников, посвященные Великой Отечественной войне и отобранные из полутора тысяч сочинений, пришедших на ежегодный Всероссийский исторический конкурс общества «Мемориал» в 2004–2005 годах. Большинство участников конкурса – подростки из небольших российских городков, поселков, деревень. Работы представляют сложную картину войны через призму семейной памяти, закрывают «белые пятна» благодаря документам, найденным в семейных и государственных архивах.

## Содержание

Места и области памяти...	4
«В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ СМЕРТИ»	11
«Мы находимся в зале ожидания смерти»	12
«Радио „Информбюро“ сообщило, что идут ожесточенные бои на улицах Сталинграда»	36
Блики времени	49
«Когда бой уже кончился...»	57
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ	65
Москва слезам не верит	66
Конец ознакомительного фрагмента.	86

# **Коллектив авторов**

## **Цена победы. Российские школьники о войне. Сборник работ победителей V и VI Всероссийских конкурсов исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век»**

### **Места и области памяти...**

**Ирина Щербакова, директор образовательных программ общества «Мемориал»**

В этом сборнике мы предлагаем читателю выборку из почти двух тысяч работ на военную тему, пришедших в этом году на шестой исторический конкурс для старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век», который с 1999 года ежегодно проводит общество «Мемориал».

Объявляя тему «Человек и война» в год 60-летия Победы мы конечно же не ставили перед собой задачу включиться в общий поток, «отметить» юбилей.

Мы надеялись, что участники конкурса посвятят свои исследования не описанию битв и действиям военачальников, а судьбам обычных людей, рядовых участников войны. Что они обратят внимание на тех, кому победа принесла не только радость освобождения, но и новые страдания. Это военные сироты и вдовы, это инвалиды войны. Это те, кто после войны многие годы жил с пятном в анкете, кто считался идеологически неблагонадежным – бывшие советские военнопленные, узники концлагерей и гетто, так называемые остарбайтеры (гражданские лица, угнанные на работу в Германию). Нам хотелось, чтобы наши конкурсанты задумались над тем, какую невероятную цену пришлось заплатить за победу в Отечественной войне.

Но главное – нам хотелось понять, как, из чего складывается представление о войне у нынешних подростков. Сохраняется ли еще живая память – хотя бы в семейных рассказах, – или война уже полностью ушла в область легенд, превратилась в нечто помпезно-застывшее?

Фактически о войне им напоминают лишь возникшие повсюду в 60-80-е годы безликие однотипные памятники и мемориальные комплексы, «вечные огни», где с первых классов приходилось отстаивать на школьных линейках 9 Мая. Конечно, война для сегодняшних школьников – и очень далекое прошлое, и самое «затопанное» мифологизированное «место» нашей памяти.

Тем более поразительно, что многие из наших авторов (в этом может убедиться читатель сборника) настойчиво стремятся обрести, восстановить настоящие «места памяти» о войне. Прежде всего это безымянные, брошенные могилы и захоронения, которые и захоронениями назвать трудно:

*Мы впервые услышали о безымянных могилах под ногами и в дальнейшем стали специально расспрашивать о них. Нам открылись страшные вещи. Весь наш поселок, такой чистый, красивый и родной, стоит на костях. На могилах без крестов., без звезд и без памятных плит... Как-то неудобно стало ходить по улице, зная, что где-то рядом под ногами могила. А еще мы подумали, что где-то остались родные, которые никогда не узнают, где покоится близкий им человек. Так вот она какая, настоящая могила неизвестного солдата, а вовсе не та, что у Кремлевской стены.*

Таких примеров в работах школьников множество. В отличие от взрослых, постоянно повторяющих фразы типа «пока не похоронен последний солдат» и т. д., но на самом деле давно свыкшихся с огромным количеством этих не похороненных, просто зарытых или брошенных в землю, детей это поражает. Поражает идущее вразрез с привычным пафосом и риторикой не оказанное мертвым уважение. Это, как мы увидели во многих работах, заставляет школьников задуматься не только о цене победы, но и о бесчеловечности системы, об изнанке бронзовых монументов...

Такого рода факты, свидетельствующие о глубочайшем пренебрежении к человеческой жизни, открываются нашим конкурсантам на каждом шагу. Вот характерный пример из работы, посвященной владимирским госпиталям, в которой автор описывает не только подвиг врачей и медсестер, сутками не отходивших от операционных столов, но и рассказывает, где и как хоронили умерших:

*Очевидцы вспоминали, что умерших советских солдат хоронили в длинных глубоких рвах. Их старались привозить ночью на телегах. Сначала складывали в беспорядке. Но потом об этом, видимо, узнало местное население. И захоронения стали производить более цивилизованно. Однако гробов, торжественных церемоний тогда не было...И все равно с этим трудно смириться... Если живые в нашей стране были винтиками, то мертвые и вовсе – ненужная головная боль. Если бы каждого умершего в госпитале хоронили индивидуально и ставили на могилу хотя бы табличку с именем и номером, то потерять память о человеке было бы практически невозможно. Имя само по себе уже гарантировало бы память. Номер могилы дублировался в книге регистрации кладбища. Если даже бы деревянная дощечка потерялась, то по номеру в книге можно было бы найти место захоронения. Тогда в стране было бы меньше детей, отцы которых пропали без вести. Они, во-первых, не чувствовали бы себя детьми изменников Родины и, во-вторых, получали пособие за отца...*

В своих выводах представители нового поколения иногда очень деловиты и практичны, но насколько этот практицизм человечнее бюрократического хаоса и равнодушия, скрывающихся за патриотической риторикой.

Настоящие места памяти о военных годах наши конкурсанты обнаруживают повсюду. Так, католические кресты, увиденные школьницей из Тайшета на заброшенном кладбище, привели ее к пониманию того, что и для СССР война началась раньше июня 1941 года и не с вторжения немецкой армии...

*Можем ли мы, русские, рассчитывать на добрые отношения со стороны поляков после массовых депортаций, Катюши, раздела Польши совместно с фашистской Германией? Ведь надо знать о судьбе не только русских жертв массовых репрессий...и история моего Тайшета без сведений о депортированных поляках, прибалтов, будет совсем не правдоподобной. Да и все равно когда-нибудь кто-нибудь возьмет да и спросит: а откуда здесь на поселковом кладбище Квитка такие странные захоронения – большие католические кресты?*

О войне школьникам напоминают не только кладбища, но и нефтешахты поселка Ярега, где во время войны добывалась нефть ударным трудом умиравших от голода зеков, и остатки укреплений, которые их бабушки и дедушки рыли в Мордовии, когда та стала прифронтовой, и многое, многое другое...

«Местом памяти» становятся и архивы, где наши конкурсанты отыскивают документы, рассказывающие о том, что власть стремилась вытравить из памяти навсегда: о репрессиях во время войны, о ГУЛАГе, о так называемых проверочно-фильтрационных лагерях.

*Для меня история ПФЛ № 0308, существовавшего в 1944–1946 годах на территории Тульского края, стала обратной стороной войны, темной и очень неприглядной. Думаю, что сегодня многим людям в нашем российском обществе в преддверии 60-летия Победы не хотелось бы вспоминать, что в глубоком тылу советской армии был ГУЛАГ и были проверочно-фильтрационные лагеря, была рабская сила под названием «спецконтингент», строившая шахты, комбинаты, заводы и фабрики. Получается очень неудобная картина войны, ломающая привычное отношение к войне: «плохие – фашисты, хорошие – наши». Оказалось, что и «наши» были разными.*

Но, конечно, главные «места памяти» о войне – это семейные архивы с фотографиями, письмами, а иногда и с дневниками и воспоминаниями.

По сотням, даже тысячам работ на военную тему, присланным на наш конкурс, видно, как трудно школьникам прорваться к живой памяти. Война для очень многих (и надо ли этому удивляться) – нечто абстрактно застывшее, набор клише из брежневской эпохи, заученных формул: великий подвиг советского народа, никто не забыт и ничто не забыто, у войны не женское лицо, День Победы – это радость со слезами на глазах, памяти павших будьте достойны и т. д. Эти фразы немедленно возникают в их текстах, как при введении ключевого слова в компьютерном поиске, и повторение их – обязательное ритуальное действие, предваряющее любой разговор о войне. Наши подростки, несомненно, жертвы этой выхолощенной и лишённой всякого человеческого содержания казенной «памяти».

Другая неофициальная, неказенная, народная память о войне проникает в их сознание в основном через призму семейной истории. Большинство наших авторов – школьники из маленьких российских городов, поселков, деревень. Их деды и прадеды – те самые рядовые, из которых сложились миллионные цифры военных потерь. Сотни и сотни раз воспроизводят школьники самую распространенную в России XX века модель крестьянской семейной истории. С трудом пережили 1929–1932 годы. Если хозяйство было покрепче, то, как правило, раскулачивали. К концу 30-х немного ожили, попривыкли к колхозам, а тут сразу и война. Мало среди крестьянских дедов и прадедов наших авторов добровольцев, сразу бросившихся на призывные пункты. А когда призвали, они пошли выполнять тяжелый долг – и хорошо, если успели написать одно-два корявых письма – и погибли, и счастье, если известно где.

*Прадед погиб от разорвавшегося в двух метрах снаряда. Раненый, он прожил еще полтора часа и успел через товарища передать наказ своей семье. Так погиб рядовой участник двух войн. Не заслужил он наград, кроме медали за оборону Ленинграда, хоть три года тянул солдатскую лямку. Захоронен мой прадед в братской могиле в двухстах метрах от деревни Каменка Холмского района Новгородской области. С единственной сохранившейся предвоенной фотографии смотрит один из миллионов людей Земли... Не менее шестидесяти процентов бойцов Красной Армии крестьяне... Это они, привыкшие к тяжелому крестьянскому труду, напрягая силы, вытянули страну из той трясины, в которую ее загнали Сталин и его руководство.*

А если повезло выжить и вернуться, то какими возвращались с войны деды и прадеды наших школьников?

*Парни пришли с войны – вот какие наши парни-то! Мы все, девчонки, за инвалидов пошли, и безногие, и глухие, и безрукие – всякие. Всех подобрали, да. А что ж, они виноваты, что ли, которые такими с войны пришли? У нас один был, глухой-глухой, а хороший парень был, пошла девчонка замуж за него. И внутри все перебито было. А вот недавно помер.*

*Все жили хорошо... С инвалидом, да. А хороших-то и не было! Мало хороших-то. Хорошие пришли, так они вон уехали, в Москву да за Москву, когда война-то кончилась...*

Вытянули, напрягая все силы и повсюду, – это, вероятно, один из важнейших лейтмотивов большинства работ. Эта война коснулась всех, каким бы разным не был передаваемый нам сегодня спустя три поколения семейный опыт. Тех, кто был в оккупации, пережил плен и угон на принудительные работы в Германию, депортирован в Сибирь и Казахстан, чудом выжил в блокаду. Надрывался в трудармии, на рытье окопов, на лесозаготовках и в ГУЛАГе. Сегодняшние подростки и в самом деле последнее поколение, у которого есть еще возможность соприкосновения с этим живым опытом. Только найти свидетелей становится все труднее:

*Самым трудным оказалось найти свидетелей. Мы столкнулись с тем, что не все очевидцы событий хотят поделиться с нами своими воспоминаниями. Некоторые говорят, что мы и не должны знать всю правду о войне, другие боятся последствий своей откровенности, есть и те, кто просто очень болен, и им не до воспоминаний. Однако многие нас просто ждали. Вернее, ждали тех, кого заинтересует настоящая правда о войне, с кем они могут поделиться. Мы слышали от них: «Почему же вы не пришли раньше?», «Теперь и умереть можно спокойно, я рассказал то, что не давало мне покоя долгие годы», многие из них не скрывали своего волнения и слез. Говорили о том, что мы первые, с кем они беседуют на эту тему.*

Сегодня память о войне чаще всего передается нашим подросткам на коммуникативном уровне через женщин – прабабушек и бабушек. И поэтому сравнительно мало в их работах фронтовых эпизодов, описаний боев. Если в семье есть живой фронтовик, сомнения школьников в правдивости лубочных изображений Великой Отечественной иногда находят выражение в форме наивного вопроса: «А ты, дедушка, за кого воевал?» Так трансформируется в их сознании призыв «За Родину, за Сталина!», который на самом деле звучал главным образом в донесениях политруков. В военной реальности, если им, конечно, удастся услышать правдивый рассказ, места для такой формулы нет.

*Из воспоминаний моего деда: но никогда, когда в атаку шли, не кричали «За Сталина!» И раненым никто не помогал, как в фильмах показывали. Говорили, например, брать высоту, где немцы засели с пулеметами. Не дай бог нагнешься помочь раненым – сзади тебя свои же расстреляют из пулемета. На то есть санитары, а ты – вперед, не дай бог остановишься, заляжешь где-нибудь... А после войны... не мог лишнего слова сказать, всегда был замкнутый, потому что презрение к тем, кто в плену был... Хотя и не виноват, что туда попал...*

Но большинство историй, которые они слышат, – о жизни в тылу, в оккупации, о бегстве, о разбомбленных эшелонах, о потопленных баржах.

В сотнях записанных рассказов сегодняшние подростки воссоздают уникальную по количеству мелких подробностей и деталей историю тяжелой жизни в тылу:

*В 41-м мне было четырнадцать. Я тогда в школе не училась, четыре класса закончила, а потом война началась. Отец на фронте, младшая была, и меня забрали. Мать слепая была. В ФЗО набирали так: если не явился человек, забирают отца или мать, кто дома, и держат в тюрьме, пока не найдешь дочь. Принуждали насильно, забирали как на фронт. Я хотела укрыться, неделю пожила в Татарке у маминой сестры. Мама пришла, ревет... Нечего было надеть, надо было в Киров идти десять километров. Я полпути прошла, у меня подошвы у ботинок отпали. Я привязала веревкой и так и шла туда, куда забирали, грязно, осень (41-го года). А не пойдешь – тебя судить будут. Вон некоторые сбегали – так по шесть месяцев давали.*

А вот рассказы о военной деревне:

*Мы – изо всех сил. У нас и лошадей-то отобрали, так мы на себе! Взяли коляску лошадиную, положим мешок и тащим. Кто за оглоблю, кто за пружину, кто сзади прет! Ой, таскали-таскали эту коляску, теперь говорят пахать! На себе опять. Таскали плуг изо всей силы: тетка одна держит за рогащи, а мы прем. А камни! Камнистое поле-то! Теперь вспахали: «Я больше не пойду! Измоталась!» Прям никак не могу пахать! Ну прям все боли-и-ит!*

При передаче таких рассказов возникают картины трудно представимой любому европейцу военной повседневности. Голод и холод, непосильный, по 12–14 часов, труд подростков на военных заводах (где стахановские сто граммов хлеба – прибавка к пайку), и никуда не уйти, не убежать, вернут с милиционером и еще посадят на полгода, на год... Многие бабушки и дедушки откровенно рассказывают, как во время войны «попадали под указы», как получали сроки за невыполнение трудовых, за опоздание на фактически принудительные работы, за так называемую спекуляцию. И мы читаем, как прабабушке дали восемь лет за буханку хлеба, вынесенную голодным детям, а сестра деда за торговлю сахарином с рук получила пять лет и так в лагере и умерла. Все эти, мягко говоря, негероические семейные сюжеты военного времени вызывают у наших авторов только сочувствие.

*Мы шли пешком двести километров. Было очень холодно, снежно и ветрено. Прибыли на станцию Торбеево. Пришла разрядка идти нам лес валить. На лесоповале уже работали заключенные из Дубравлага. Наша жизнь несмотря на то, что мы были на свободе, ничем не отличалась от их жизни. Разместили нас в бараке на нарах, в котором имела железная голландка. До рассвета нас выгоняли на работу. Шли в лес, неся с собой пилы, топоры. Работали дотемна. Обед всухомятку: съедали какой-то маленький кусочек хлеба... Мне захотелось бежать. Четыре дня, обходя села, мокрая и голодная, я шла домой... Родители хотели меня скрыть, пряталась я под кроватью от людского глаза. Об этом стало известно председателю, он сообщил в прокуратуру района. Прокурор пригрозил тюремным заключением. Пришлось с котомкой сухарей возвращаться обратно на лесоповал.*

Когда подростки передают эти истории, происходит деидеологизация официального советского образа войны, который сегодня возрождается гораздо активнее, чем это было еще несколько лет назад, – прежде всего на уровне нравственных оценок. Нет работ, где звучало бы осуждение прадеда, сдавшего в плен, и для наших авторов сегодня не имеет значения, был ли он при этом тяжело ранен или просто оказался в безвыходном положении, главное – тяжесть перенесенных испытаний. Такая же оценка звучит, когда речь заходит о бессмысленных жестокостях в нашей армии, о расстрелах так называемых дезертиров, о штрафбатах.

Отчасти поэтому им так трудно понять, где в рассказе об угоне или плене они сталкиваются с явной мифологией, где – с умолчанием, а где – с вытеснением, ведь все это связано с теми страхами, которые до сих пор испытывают многие рассказчики. Нынешним подросткам все-таки сложно осознать природу этих страхов. Их несколько не удивляют истории прабабушек и бабушек, угнанных в Германию, когда те вспоминают о том, что все эти годы скрывали. Например, о возникавших порой человеческих отношениях с хозяевами-немцами. А вот реакция «своих» вызывает непонимание и возмущение.

*Люди, воспоминания которых мы записали, попали в рабский трудовой плен в силу трагических обстоятельств. Но они, их семьи подвергались унижениям не только на чужбине, но и в их собственной стране. Их жизнь по возвращению домой была полна лишений и мытарств. Власть после войны создавала дополнительные препятствия в их и без того нелегкой жизни лишь за то, что они стали подневольными рабочими-рабами в трудовом плену. Этим людей в нашем обществе с их проблемами и переживаниями долго как бы старались не замечать. «...А мы молчали. Мы ведь никому не говорили, что в Германии были».*

На примере конкретных судеб они узнают, что возвращение из плена часто вело прямым образом в ГУЛАГ:

*Героя моей работы два месяца везли через всю матушку Россию, наконец привезли в Воркуту. Снова лагерь, но теперь советский: подходит парень, тоже заключенный-каторжник, и спрашивает: «А ты откуда приехал?» А он ему: «Из Германии, из концлагеря Гросс-Розен...»*

Кстати, интерес именно к еще недавно запретным темам, к тому, что до сих пор не вписывается в официальную память, в той или иной степени чувствуется едва ли не во всех работах о войне, просто иногда нашим школьникам трудно добраться до правдивых источников. Надо еще помнить, что военные архивы до сих пор на самом разном уровне остаются едва ли не самыми закрытыми, и поэтому главный их источник – по-прежнему память.

Каким представляется им сегодня образ врага, немца, оккупанта?

Конечно, есть представление о безликой массе, о страшном нашествии, и здесь часто возникает патетика в духе 70-х, однако совершенно отсутствует пафос мести. Скорее можно увидеть стремление дифференцировать, улавливать все, что не входит в рамки лубочных образов. Проявление человеческих чувств и даже иногда взаимной жалости не вызывает удивления и воспринимается порой как нечто само собой разумеющееся.

*В Боровском и Малоярославском районах жители не раз отмечали случаи нормальных, даже человеческих отношений между хозяевами и непрошеными постояльцами. Например, врач-хирург по собственной инициативе оперирует нарыв на руке местной жительницы. По рассказам, немецкие солдаты жаловались местной учительнице немецкого языка на свою подневольную жизнь... Русские женщины иногда по-человечески жалели этих немецких мальчиков. Так, вовремя бегства немцев из Боровского района в одной из деревень старушка подвезла к дороге, по которой мчались машины и техника, на санках молодого солдата с отмороженными ногами и хотела пристроить его к отступавшим. Сообразив, что больной никому не нужен, она кричала и пыталась доказать, что его оставляют на верную гибель.*

Очень часты рассказы о немецких военнопленных: бабушки и дедушки сегодняшних конкурсантов – это послевоенные подростки, и им, конечно, запомнились вызывавшие недавно такой ужас враги в совсем ином виде:

*Дальше шли солдаты. Это было просто ужасно. Худые, оборванные, наряженные в то, что они отнимали у русских, погибая от холода, хотя и было лето: клетчатые бабьи платки, телогрейки, огромные эрзац-валенки. Их надевали поверх своих сапог. Шли они в таких эрзацах как парализованные. Даже не шли, а еле ползли. Многие были заматаны какими-то тряпками. Народ вокруг молчал. Более того – стояла звенящая тишина. Никаких выкриков. Было такое ощущение, что и зрители оцепенели от ужаса. Мимо них шли несчастные люди – тоскливые, безразличные ко всему, отрешенные. Несчастные солдаты, которые расплачиваются за то, что заставили их делать фашисты.*

Война оставила следы в разных местах и регионах, и сейчас, спустя многие десятилетия, чрезвычайно интересно посмотреть на это глазами нынешних подростков.

В местах, бывших зоной оккупации, это история столкновения с врагом, это судьбы угнанных в Германию оstarбайтеров и, конечно, партизанское движение. Кстати, как выясняют наши конкурсанты, очевидцы помнят не только немцев-оккупантов, но и венгров, румын и итальянцев.

История партизанского движения чрезвычайно мифологизирована, архивы до сих пор фактически закрыты, но память-то остается. Она весьма и весьма противоречива и часто также не совпадает с официальной советской картиной.

*Теперь я понимаю, почему дедушка с бабушкой не любили вспоминать войну, а только плакали... Страшно не подчиниться немцам, но страшнее не подчиниться партизанам... Может из-за этого страха вспомнить многие из нас и не видят всей правды... История народного партизанского движения необходима, но подлинная.*

А что происходит с памятью о холокосте? Она очень сильно вытеснена. Здесь мы сталкиваемся не просто с молчанием памяти (мы видим, как сегодня буквально уже в последний момент нарушается это молчание и нарушаются табу, связанные с войной). Но история гибели евреев, которая проходила на глазах у многих свидетелей, в рассказах об оккупации фактически отсутствует. Это понятно. Даже роль наблюдателя в данном случае тяжела и неоднозначна, а в послевоенные годы делалось все, чтобы вытеснить память о массовом уничтожении евреев. Конечно, главные места, связанные с холокостом, теперь уже за пределами России, но есть ведь и российский юг: Краснодар, Ростов, Таганрог.

И все-таки особенно в этом году мы увидели попытки приподнять завесу молчания, докопаться до правды и разбудить даже «взрослую» память. Тогда из пассивных, хоть и внимательных слушателей наши конкурсанты превращаются в активных актеров истории. Такие работы, как бы мало их ни было, вселяют надежду.

*Уже с самого начала меня затащило: источник, с которым я начала работать, оказался очень интересным. Больше всего меня поразило отношение одноклассников к тому, что я решила заняться такой работой. Многие говорили, что-то вроде: «Тебе заняться нечем?» или «Кому это надо?». Некоторые ребята просто удивленно раскрывали рот, услышав, о чем я пишу. Но их отговорки не убедили меня бросить все, а, наоборот, усилили уверенность в том, что это кому-то нужно. Это нужно именно им, тем ребятам, которые ничего не знают...*

*Моя цель – понять, что представлял собой оккупационный режим и как люди выжили в условиях «нового порядка». Я хочу понять, какие отношения были между людьми разных национальностей и почему они складывались именно так.*

Конечно, питерские работы главным образом посвящены блокаде, а если о войне пишут подростки из Сибири, с Урала, это фактически история эвакуации (очень сильно изменившей жизнь этих регионов) или тяжелейшего труда – то, что на официальном советском языке называлось подвигом труженников тыла. А на Дальнем Востоке и в Сибири возникает много рассказов о военнопленных японцах, о которых в Центральной России и не слышали. Если работа, например, написана школьниками из Калмыкии или Ингушетии, то в их памяти война – это прежде всего история депортации 44 года. Истории российских немцев – это тоже депортация и трудармия, которая мало чем отличалась от ГУЛАГа. А в Карелии память о войне – это память о финской оккупации, и, как показывают приходящие оттуда работы, эта память не просто жива, она возрождается. В Коми это ГУЛАГ, работающий на победу из последних эковских сил.

Совершенно закономерно у наших авторов возникает вопрос не только о цене, но и плодах победы, о том, что ждало после войны тех, кто выжил, вернулся, и, самое главное, они видят, как эти люди живут сегодня:

*Здоровье я растратила на торфоразработках в 41-м году, на лесоповале – в 42-м году. А в старости, когда меня замучили болезни, власти забыли мой труд. Умирать уже пора, а память мучает меня чувством обиды за голод, холод, непосильный труд. Я ежемесячно получаю пенсию – 2000 рублей, не хватает даже на лекарства.*

*Мучились как собаки, инее зачет, работала всю жисть, работала за шиши... Потому что были бы мы грамотные, может, чего и было бы. А мы неграмотные. Что дадут, то и дадут. Вот как. И военные годы не пошли, ничего... вот и все. Пенсия? Сто восемьдесят... Тысяча восемьсот тридцать рублей... Ну мне хватит...*

Слушая и записывая эти рассказы, школьники понимают, что «в зачет» этим людям и многим из их близких фактически ничего не поставили. Тем непомерней кажется тогда реальная цена победы, в том числе и семейного вклада в нее. Это, безусловно, рождает у наших конкурсантов чувство причастности, заставляет задумываться, прислушиваться и «ставить в зачет».

## «В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ СМЕРТИ»



## **«Мы находимся в зале ожидания смерти» Матвеев Курган в 1941–1943 годах**

**Максим Столбовский, Василий Хруцкий Ростовская область, пос.  
Матвеев Курган, 10-й класс научный руководитель О. И. Столбовская**

Когда учительница истории предложила нам участвовать в конкурсе, мы выбрали тему войны. Но вначале нам казалось, что ничего нового мы не найдем, что наша работа будет похожа на обычный школьный реферат. И все глубже окунаясь в события, происходившие там, где мы живем, мы ощутили свою сопричастность к ним.

Очень мало осталось свидетелей тех страшных лет, которым в годы войны было больше 18 лет. Мы познакомились ближе со стариками, мимо которых проходили раньше, не всегда здороваясь. Мы изучили семейные архивы и расспросили родных, соседей. Работали мы также и в районном архиве. История поселка стала и нашей историей.

Самым трудным оказалось найти свидетелей. Мы столкнулись с тем, что не все очевидцы событий хотят поделиться с нами своими воспоминаниями. Некоторые говорят, что мы и не должны знать всю правду о войне, другие боятся последствий своей откровенности, есть и те, кто просто очень болен, и им не до воспоминаний. Однако многие нас просто ждали. Вернее, ждали тех, кого заинтересует настоящая правда о войне, с кем они могут поделиться. Мы слышали от них: «Почему же вы не пришли раньше?», «Теперь и умереть можно спокойно, я рассказал то, что не давало мне покоя долгие годы», многие из них не скрывали своего волнения и слез. Говорили о том, что мы первые, с кем они беседуют на эту тему.

Мы записали воспоминания 37 человек, живших в Матвееве Кургане и в районе в военные годы<sup>1</sup>.

### **НАЧАЛО ВОЙНЫ. СОБЫТИЯ ДО ПРИХОДА НЕМЦЕВ 17 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА**

Матвеев Курган перед войной стал красивым районным центром. Здесь были две школы – средняя и семилетка, кинотеатр, большой элеватор, молокозавод, железнодорожная станция. Некоторые улицы были вымощены каменной брусчаткой. Перед зданием райкома стоял памятник Ленину, в парке была стела погибшим за революцию в Гражданской войне и памятник Сталину. Среди парка был разбит розарий.

Мы представили себе поселок, где жили люди, каждый занимался своим делом, которое прервала война. И мы просили рассказать об этом, чтобы понять, как люди переживали последние мирные часы, как известие о начале войны раскололо их жизнь на две части – довоенную и военную.

Война быстро становилась суровой реальностью. Забрали на войну отцов, братьев, мужей, сразу опустел поселок. Вокзал превратился в особое для поселка место. Отсюда провожают близких на фронт. Вернутся ли они с войны? Увидятся ли с ними их семьи? Из Матвеева Кургана в 1941 году было мобилизовано 311 человек.

---

<sup>1</sup> Мы всем им чрезвычайно благодарны за сотрудничество с нами, но особую благодарность выражаем Надежде Ивановне Панченко, Виктору Матвеевичу Моисеенко, Ивану Григорьевичу Столбовскому, Марии Васильевне Волощуковой, Надежде Петровне Саломашенко, Антонине Алексеевне Ниценко.

Из нашего района стали выселять немцев-колонистов, которых до войны здесь проживало очень много. Выселяли семьями, давали на сборы очень мало времени, почти ничего не разрешали брать с собой, заставляли распустить всю скотину. Надежда Ивановна Панченко, 1927 года рождения, вспоминает: «Очень обидно выселяли ротовских немцев. Со мной в классе училась немка, мы с ней дружили. Мне ее было жалко, но на вокзале, куда я пришла ее проводить, к ней не пустили. Их гнали штыками, на них сильно кричали наши солдаты, стоял плач и крик женщин и детей. Их загоняли в товарные вагоны, крепко закрывали там и не разрешали выглядывать из окошек под крышей». Это было непонятно и страшно, к колонистам здесь хорошо относились, и, даже когда началась война, никто в нашей местности не связывал гитлеровцев со здешними немцами. Депортация такими жестокими средствами, отношение к тем, кого считали своими, как к врагам, заставили усомниться в справедливости властей.

Война приближалась, новую среднюю школу оборудовали под госпиталь. Через поселок с запада, с Украины, гнали скот. Скоро и наши колхозники погнали свои стада на восток. Скот был недокормлен, утомлен, стоял рева, пыль до самого неба. Люди ехали на повозках, шли пешком в эвакуацию.

Дети не пошли учиться, их организовали на работы в помощь фронту. Школьники собирали металлолом, набрали целые кучи возле МТС, их не успели вывезти, и металл лежал там очень долгое время. Младшие школьники собирали урожай, а старших отправили рыть окопы. Все работали очень ответственно, надеялись, что помогают фронту.

Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Когда немцы наступали, а здесь были еще наши войска, нас выгоняли копать противотанковые рвы. Это было для всех обязательно, хочешь не хочешь, иди. Ходили за восемь километров туда и восемь километров обратно пешком, рыли окопы. Также делали противотанковые кучи – насыпали на противотанковые мины большие кучи земли в шахматном порядке. Я и тогда не понимала, зачем. Немцы не глупые – зачем им ехать на кучи? Так и получилось. Этот участок немцы обошли стороной. Наша тяжелая работа пропала впустую. Нас подхваливали, обещали, что, кто хорошо будет работать, отправят отдыхать в санаторий, но какое там! Очень быстро прорвало фронт, и все обещальщики ушли и бросили нас на немцев». Работа на рытье окопов была опасной. Это был не только тяжелый труд, но и смертельный риск: «Немецкие самолеты летали над нами часто. Пролетит „рама“—самолет-разведчик. Мы все врассыпную, кто в окопы, кто куда, а платки у всех девчат белые, видны далеко. Минут через 5-10 летят самолеты и бомбят». Надежда Ивановна вспоминает, что все очень старались, надеялись, что наши остановят немцев, что дадут им отпор. И когда враги все же захватили родные места, горечь была сильной.

В конце августа фашисты стали бомбить поселок и станцию. Сначала люди не знали, как себя вести при бомбежках. Лидия Николаевна Шаталова, 1937 года рождения, вспоминает: «Когда бомбили, мы сначала не знали, что это, и с братом кричали маме: „Огурчики летят!“ (бомбы), а зарево было на все небо». Евдокия Аврамовна Гребеняк, 1935 года рождения, рассказала, что «при первых бомбежках еще не знали, что делать, почти всегда они были неожиданны. Бомба упала во дворе, а мама в комнате купала сестричку Валю, ей было три года. Выпали стекла в окнах, одно большое упало так, что думали, оно зарежет Валю в корыте. Слава Богу, она осталась жива, только немного поцарапана». Люди искали укрытия в подвалах, рыли щели в садах. (Щель – это яма полметра шириной, а в глубину на рост человека.) Когда был близкий разрыв бомбы, то такое укрытие становилось могилой. Мог им стать и подвал, если было прямое попадание. Самым надежным укрытием во всем поселке оказалась «труба» – переход под железной дорогой на окраине поселка. Мария Васильевна Волощукова, 1928 года рождения, вспоминает: «При налетах мама кричала: „Быстро в трубу!“ Мы бежали туда. В трубе я оказалась чуть ли не снаружи, там уже много наби-

лось людей со станции, гражданских и военных. Кое-как вползла внутрь. Какой-то военный крикнул: „Садись!“, чтобы не убила взрывная волна. Сидим в тишине, а потом рокот мотора, свист... Ждем – в нас попадет, мимо... Кто-то в тишине перед разрывом сказал: „Мы находимся в зале ожидания смерти!“».

После беседы с Марией Васильевной мы пошли в трубу. Мы часто пользовались этим переходом, когда ходили в гости к одноклассникам, живущим за железной дорогой. Теперь мы другими глазами посмотрели на мир из этой трубы. Как страшно жить, нет, не жить, существовать, поминутно ожидая смерти. Этот «зал ожидания смерти» оставил в душе глубокое впечатление. Так нашим землякам пришлось жить не один месяц, а вплоть до октября 1943 года, когда фронт ушел на запад и больше в поселок не вернулся.

Очевидцы рассказывают, что в 1941–1942 годах почти не видели наших самолетов. А вот немцы летали большими группами, несколько десятков самолетов, черные, страшные, среди дня. Летели низко, почти не опасаясь наших зениток. Чтобы усилить ужас, сбрасывали бочку с дырочками, она страшно завывала, пугая тех, кто прятался от разрывов. Причем свидетели не могут сказать, наши летчики или немецкие придумали сбрасывать такие бочки. Людям оставалось только молиться: «Слава Богу, день пережили!» – говорили, когда бомбили немцы, а здесь стоял фронт. «Слава Богу, ночь прошла, и мы целы!» – говорили, вылезая из канавы за поселком в 1942–1943 годах, когда бомбили наши. Гибли люди под бомбами. Привыкнуть к этому было нельзя.

Очень скоро жители Кургана заметили, что остались без власти. Все конторы опустели, начальники куда-то делись. Магазины стояли закрытые, нельзя было купить хлеба. Вспоминает Виктор Матвеевич Моисеенко (1929 года рождения): «Отец работал на элеваторе, на подстанции. Элеватор был метров тридцать, самый высокий в поселке. Помню, как отец жег партийные документы в котле. Потом пришли военные. Сказали: „Старик, иди домой, мы здесь хозяева“. И дали ему бумагу, что приняли имущество. Они разрешили людям, бывшим работникам, брать зерно и муку. Элеватор взорвали так, чтобы он перекрыл железную дорогу, зажгли все склады с оставшимся зерном. Смерд и гарь стояли над поселком».

О том, что элеватор горел, когда еще немцев в поселке не было, вспоминают и другие очевидцы. Но в книгах мелькает информация, что элеватор зажгли немцы. «На станции „Матвеев Курган“ полыхал огонь. Отступая под ударами наших войск (речь идет о декабре 1941 года. – *Авт.*), немцы не успели вывезти зерно с элеватора и подожгли склады. Бойцы потушили пожар и спасли тысячи тонн пшеницы. Было приказано вывезти все зерно в тыл. Ночью в Матвеев Курган потянулись автомашины, подводы. Немцы подвергали их артиллерийскому обстрелу, но пшеница до последнего зернышка была спасена»<sup>2</sup>. Непонятно, ради чего рисковали жизнями людей под обстрелом немцев, потому что все свидетели, даже те, кто затрудняется сказать, когда именно был взорван элеватор, вспоминают, что всю первую оккупацию питались горелым зерном, который добывали на месте пожара. Кроме того, есть свидетельства, что еще года три, когда приходилось особенно туго, жители разыскивали там остатки зерна. Из записок Галины Васильевны Захарченко знаем, что немцы выпекали хлеб из этого зерна<sup>3</sup>. Так что вывозить нашим войскам было нечего. Остается предположить, что здесь мы имеем дело либо с мифом, либо с желанием в 1970-х годах во всей разрухе, бывшей в поселке, обвинить фашистов.

Очень интересным в рассказах нам показалось описание того момента, когда люди поняли, что наступило безвластие, которое продолжалось около недели. Нет ни милиции, ни райкома, никого, кто накажет. Дома начальников тоже опустели.

<sup>2</sup> Испытание верностью: Очерки о героизме воинов, боевом пути 339-й Ростовской Таманской Бранденбургской ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1973. С. 27.

<sup>3</sup> Матвеево-Курганский районный архив (далее: Архив). Оккупация района. Дело № 20.

Люди пошли брать в колхозе все, что осталось: сеялки, сани, лошадей, коров. Брали все в магазинах и аптеках, запасаясь на будущее. Уже знали, что ничего хорошего от немцев ждать нельзя, от своих властей тоже ничего особенно хорошего не ждали. У простых людей было ощущение брошенности, ненужности.

Вспоминает Виктор Матвеевич Моисеенко: «На старой аптеке (что по улице Октябрьской) висел большой замок. А женщины хотели запастись лекарствами, все равно какими. И они подговорили нас, мальчишек, чтобы мы выбили в аптеке окна. Мы бросили камни, стекла вдребезги. Все повалили вовнутрь. Мы, мальчишки, искали мятные таблетки. Некоторые из нас покуривали, ими хорошо было зажевывать, чтобы родители не узнали. Там стояла лестница, чтобы доставать до верхних полок. Туда полез мой старший брат, ему было 14 лет. Он обнаружил там зубной порошок в бумажных пачках. Его там было очень много. Он стал разрывать пачки и посыпать им сверху баб, которые гребли в сумки лекарства. Потом он увидел огнетушитель и стал поливать из него ругающихся и плюющих женщин. Какие они оттуда выскакивали „красивые“, я буду помнить долго! Белые, в пене!»

Нельзя осуждать тех людей, переживших смутные времена перед оккупацией, под обстрелом и бомбежками, которые продолжались, не прерываясь ни на день. Люди стремились обеспечить себе хоть какое-то будущее, чтобы не голодать. Однако некоторые не ходили туда, оставалась какая-то преграда в душе, какой-то внутренний запрет брать чужое.

## **ПЕРВАЯ ОККУПАЦИЯ. 17 ОКТЯБРЯ – 4 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА**

«В середине месяца 1-й танковой армии врага удалось выйти к устью реки Миус и 17 октября занять Таганрог»<sup>4</sup>. В этот же день немцы вошли и в Матвеев Курган, который наши войска оставили без боя, боясь окружения. Немцы в поселок входили с двух сторон: с севера и с юга.

Мы хотим привести здесь воспоминания Антонины Алексеевны Ниценко, 1929 года рождения: «Видели, как сплошным потоком идут люди на восток – в эвакуацию. Бабушка и говорит:

– А давайте и мы эвакуируемся, что нам сидеть, раз все идут.

И мы взяли кое-какие вещи, на руки маленького братика (1939 года) и пошли по улице Кирова, на которой мы жили возле железной дороги, на восток... Дома на столе остался разрубленный поросенок из приبلудных – прямо гора мяса. Мы взяли только немного сала. Мы увидели, как к военкомату во весь дух мчит тройка, с морд лошадей падает пена, а мужчина стоя правит. У военкомата он резко осадил коней и закричал:

– В Ротовке немцы!

Потом он увидел нас (было семь малышей, две женщины – мать и ее сестра, бабушка 56 лет) и говорит:

– А вы куда?

– В эвакуацию.

– А куда?

– А кто его знает.

– А дом у вас есть?

– Есть, и подвал есть.

– Ну и возвращайтесь, живите, кому вы где нужны. Тут очень опасно, немцы дороги бомбят, в спины людям стреляют, а у вас дети малые.

Бабушка и говорит:

– А давайте вернемся, в своем доме и смерть красна.

<sup>4</sup> История Донского края / Под ред. В. И. Кузнецова. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1971. С. 245.

Ну мы и вернулись, мясо на столе никто не тронул».

Остались женщины с детьми одни, без мужчин, которые раньше всегда принимали решения. Они растерялись, не знали, что им делать, как сохранить детей.

Почти все вспоминают, как в первый раз увидели немцев, даже те свидетели, которым было мало лет. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Впервые увидела немцев 17 октября 1941 года. Мы с сестрой Марией пошли за сеном и увидели немцев с автоматами. Я очень испугалась. Ведь по радио говорили, что они сразу всех убивают и девочек насилуют. Я побежала домой и спряталась на чердак. Мама закричала: „Ты что это выдумала, слезай!“ А во дворе уже немцы – офицеры, холеные, чистые, не то что наши солдаты, те шли усталые и в пыли». Из воспоминаний Антонины Алексеевны Ниценко: «Мы имели огород за ГЭС (за поворотом реки; ГЭС построена в послевоенные годы. – *Авт.*) и с мамой резали там капусту. Вдруг, слышим, загудели танки. Побросали капусту, прибежали домой. А дома – полный двор немцев, требуют сало, яйца. Бабушка им говорит, что их нет, а мама сказала: „Да отдай, пусть оставят в покое“». Иван Григорьевич Столбовский, 1932 года рождения, вспоминает: «Немцы приехали на черных тяжелых тизовских мотоциклах со стороны Колесниково, которые выпускались в Таганроге и отправлялись в Германию. Брат Степан, который работал на том заводе, мечтал о таком. Вообще наши были без техники, а у немцев все сидели за рулем, даже пехота. Мы до войны много чего им отправляли – продовольствие, эти же мотоциклы».

Нам кажется, что эти рассказы почти не нуждаются в комментариях. Они точно передают атмосферу этого трагического момента – начала оккупации. Немцы занимали наиболее удобные дома, выгоняли жителей в сараи, в лучшем случае позволяли тесниться в кухне. Пришли тыловые части. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Немцы вели себя нагло, как завоеватели. Русских называли: „Руссиш швайн“. Не стеснялись женщин и детей. Посреди розария в парке устроили туалет открытый, поставили невысокие стенки, где-то с метр, вырыли ямы. Сидит немец в туалете, голова торчит из-за стенки, и лыбится на людей. Было стыдно и неудобно ходить мимо».

Сделали этот туалет специально в самом красивом месте поселка, чтобы унижить жителей и показать, кто тут хозяин.

Из рассказа Виктора Матвеевича Моисеенко: «Детям приказали сносить учебники в бывший Госбанк. Там сидели учителя и старшеклассники и рвали листы, где было упоминание о советской власти». Всякое упоминание СССР также тщательно уничтожалось.

Начались поборы с населения, все ценное забирали. Не только организованные команды тыловиков, но и простые солдаты грабили жителей для себя лично. Все очевидцы вспоминают, как по домам ходили немцы, брали что хотели в домах жителей. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Немцы вели себя нагло, входили в дом с автоматами наперевес: „Партизан, коммунист ист?“ Заходят в каждую комнату, озираются по сторонам, копаются в сундуках, ищут хорошие вещи, если кто-то один что-то найдет, то молча быстро загребают в мешок и уносят на машину или в мотоцикл». Благополучие некоторых семей, подобравших бесхозный скот и набравших добра в магазинах, быстро закончилось. Впереди замаячил голод. Ковалева Валентина Федоровна, 1934 года рождения, вспоминает: «Придут немцы, требуют кур, яйца, а мама нам: „Плачьте, дети!“ И мы плачем, бывало, немец и уходит»<sup>5</sup>.

Появилась комендатура с фашистским флагом над нею. Вспоминает Елена Николаевна Белошенко, 1928 года рождения: «Мы жили рядом со зданием, в котором была комендатура... У нас в семье было трое девчат и мама, так мы боялись лишней раз выходить на улицу. Мама нас сажет намажет, в рванье оденет, прячет от немцев. Они красивых девчат

---

<sup>5</sup> Записки А. Г. Шелковниковой, бывшей заведующей школьным музеем, написанные для детей-кружковцев примерно в 1985 году, хранятся в школьном музее.

первых в Германию отправляли, или еще куда – мы не знали, но знакомую так угнали еще в первую оккупацию». Е. Н. Белошенко рассказала, что у немцев работала команда наших военнопленных, они копали какие-то траншеи, их били, они были полураздетые и голодные. Жителям подходить к пленным запрещали.

Жить в Матвеевом Кургане все же было легче, чем в селе Троицком, что под Таганрогом. Там жила мать Лидии Николаевны Шаталовой, которая перед войной вышла замуж. Там стояли не фронтовики, а эсэсовцы, которые расстреливали коммунистов и евреев. Они жгли людей живьем, убивали, и ее мать не могла оттуда уехать. Она рассказывала, что людей там живыми закапывали в землю и земля трое суток шевелилась.

О том, что и в Матвеевом Кургане захватчики искали евреев, мы нашли сведения в записках Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Подходит немец к русскому вплотную, начинает щупать голову, проверять строение черепа – не еврей ли он или не цыган ли? Это было со мной у вокзала, и там же проверяли так и других людей. Немецкий переводчик нам объяснил, что они ненавидят цыган за их лень и воровство, а евреев – за хитрость и безделье». Александра Александровна Хайло, 1918 года рождения, говорила, что ее немцы принимали за еврейку, потому что она была черноволосой и кудрявой, но ей удавалось доказать, что она русская.

Свою деятельность разворачивала комендатура, устанавливая «новый порядок». Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Возле нашей школы на столбе висела табличка: „За хождение после восьми вечера – расстрел“. Около вокзала такая: „За одного убитого немца – десять русских расстрел“. Легко немецкий солдат мог дать пощечину местному или пинка под зад».

В подвалах комендатуры сидели люди, ожидавшие своей участи.

В Ново-Николаевке был лагерь для военнопленных. Несколько раз через Матвеев Курган туда гнали пленных. Вспоминает Екатерина Григорьевна Добрица, 1922 года рождения: «Через поселок гнали пленных. И люди среди них узнали земляка. Сказали его жене, она пошла в Ново-Николаевку и взяла для мужа продукты, курицу жареную, вдруг удастся передать. Один немец, что охранял лагерь, взял продукты, а мужа отпустил, сказал, чтоб не пускала воевать». Этот лагерь просуществовал до полного освобождения района от оккупантов.

Неизбежно во время оккупации с отдельными представителями вражеской армии возникали какие-то личные отношения. Многие свидетели вспоминают, что некоторые немцы давали им хлеб, показывали рукой на метр от пола и говорили: «Дома киндер», показывали фотографии семьи. Иван Григорьевич Столбовский вспоминает: «Наш дом стоял на окраине. Немцы оборудовали рядом зенитную батарею, в доме жил ее офицер. Он хорошо говорил по-русски, украдкой давал нам суп из гороха без картошки, который ели сами офицеры, консервы, раз даже угостил шоколадкой. Часто беседовал с отцом и, когда не слышали другие офицеры, сказал: „Нашего Гитлера и вашего Сталина надо столкнуть лбами и заставить драться вместо нас, простых людей. Пусть убивают друг друга до смерти“». Петр Егорович Журенко, 1927 года рождения, вспоминает: «У нас в доме жил немец старый, для меня он был как дедушка. Он был ветфельдшер, в офицерском чине, жил один в зале, а мы в другой комнате. Нас не обижал, меня просил держать лошадей при его осмотрах, за это давал иногда продукты». Вспоминает Николай Иванович Жерноклев, 1938 года рождения: «Мы с братом были двойняшки, только он темнее, а я светлее. Немцы относились к нам хорошо, удивлялись, что мы так похожи. Один немец очень подружился с нами, подарил нам по чайной ложечке, мне под золото, а Володе под серебро, часто угощал хлебом. Он потом специально заезжал к нам раненый, без ноги, когда возвращался в Германию из-под Сталинграда. Он говорил, что кровь там течет рекой, прямо по земле».

Надежда Петровна Саломашенко, 1924 года рождения, рассказывает, что однажды немец спас ей жизнь при бомбежке. «Мне надоело прятаться в подвале, и я решила заноче-

вать на кухне. Немцы же совсем не прятались, при всех бомбежках спали в доме. У нас жили те, кто восстанавливал железную дорогу, умаются за день и спят. Налетели наши самолеты, я испугалась и побежала прятаться в подвал. Немец схватил меня за шиворот и положил на пол. Я плохое подумала, стала кричать, а тут бомбежка закончилась. Он встал и пошел. Мне говорят: „Он жизнь тебе спас“. Если бы я дальше побежала, как раз бы под разрыв угодила».

Вскоре жители разобрались, что среди оккупантов не все немцы по национальности: есть австрийцы, венгры, хорваты. Многие сносно говорили по-русски и относились к населению мягче, чем немцы.

Нашлись жители, которые захотели стать полицаями, служить немцам. Из записок Галины Васильевны Захарченко: «С помощью прихвостней-полицейских стали выгонять людей на принудработы: тушить пожар на элеваторе, восстанавливать железную дорогу, мосты. Людей сажали на открытую платформу и в сопровождении автоматчиков с собаками возили в Закадычное на восстановительные работы. Стала работать пекарня, выпекали хлеб из зерна, которое немцы смогли спасти от пожара на элеваторе. Этот хлеб имел запах гари и привкус горечи»<sup>6</sup>.

Все полицаи преследовали свои интересы, стремились насладиться властью, побольше положить в карман.

Тогда же на территории района стал действовать партизанский отряд. Мы узнали, куда исчезли руководители района за неделю до оккупации. Их вызвали в обком партии, объявили, что они мобилизованы в партизаны. При этом они сдали свои документы, партийные и комсомольские билеты на хранение. Александра Александровна Хайло показала нам справку, выданную ей в обкоме партии в 1943 году, где указывалось, что ее комсомольский билет находится на хранении. Всего их было в отряде около 30 человек. Во главе стояли руководители района и районных предприятий. Александра Александровна попала в отряд как член бюро райкома комсомола. Ей и Нине Гончаровой поручили работать в Больше-Кирсановке, разносить листовки, выполнять разные поручения руководителя, Александра Гудзенко (он был секретарем райкома партии). В районном архиве есть примерный список членов этого отряда, составленный со слов уцелевших партизан в 1970-х годах. В нем значится 28 человек.

Вспоминает Екатерина Григорьевна Добрица: «Я в первую оккупацию жила у родителей мужа на хуторе Добрицы. Тесть сделал на доме двойной фронтон, то есть на чердаке была потайная комната, которую никак было не видно – ни с улицы, ни с чердака. Там сделали нары, и там прятались пять человек – партизаны. Среди них были Гудзенко Александр (он был наш родственник – муж тети моего мужа), Афионов Василий (позже он был руководителем Таганрогского подполья) и еще не помню кто – все бывшие руководители района. Они по ночам уходили на свои дела, а днем скрывались у нас. Знаю, что они взорвали два эшелона с немцами в Закадычном, а что еще – не знаю. У нас полный двор немцев, а на чердаке партизаны. Очень страшно было. Мы им стирали, кормили их. Пятеро мужиков, не шутка! Большой был риск, а у нас дети малые. Еды не хватало, мы даже побирались одно время. Скрывали их месяца четыре». (Часть района не освободили в декабре 1941 года, там продолжалась оккупация до августа 1943 года.)

Нас заинтересовало, что почти все свидетели не говорят о действиях партизан как о нужном деле. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Партизаны пускали ночью ракеты из-под железнодорожного моста. Наши самолеты весь поселок бомбят ночью. Немцев было в селе очень мало. Но наступает ночь, люди села берут коров за веревку, кое-какие вещи и идут в поле ночевать. Ибо прилетят самолеты, побросают свечи-ракеты на парашютиках, станет светло, летчикам все видно. Тогда они, сбросив сотни бомб, улетают.

<sup>6</sup> Архив. Оккупация района. Дело № 20.

Немцев нет, зениток нет, одни жители и те в поле. Утром возвращаемся – дом разбит, кругом кучи земли и обломки. Сидим у соседей в подвале... Благодаря партизанам два месяца попусту бомбили наше село».

О страшных последствиях бомбежки вспоминает Надежда Петровна Саломашенко: «Когда наши в 1941 году ушли, то оставили здесь партизан – бывших партработников. Толку от них никакого не было. Здесь не было боевых частей немцев, таких, как я видела в Кривянке, в эвакуации. Там здоровые, сильные, молодые, а у нас старики железную дорогу восстанавливали. Ежедневно наши пускали ракеты, и нас бомбили. Жили по ночам в погребе среди бочек с капустой, ноги отекали от такой жизни. Мама и отправила меня к родственникам в Красный Бумажник. Там не бомбили. Шли туда пешком, вдоль железной дороги. Часто нам встречались солдаты наши, выходили из окружения группами, человека два-три. Грязные, голодные, чем-то на зверей похожи».

Другие очевидцы рассказали подобное – таких свидетельств много. Как же тогда относиться к партизанам? Вроде бы идет война с врагом, партизаны часть этой войны, работают на уничтожение фашистов, но жертв больше среди мирного населения. Мы решили, что дело в масштабах их действий, и, возможно, если бы жители видели, что партизаны действительно причиняют большой вред врагу, отношение к ним у людей было бы иное. В самом же поселке страдали именно мирные жители. Но в книге читаем: «Активную деятельность развернули в тылу врага партизаны. Были созданы отряды в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Азовском районах... Особенно ценными были их сведения о дислокации немецких войск. В этом партизаны оказывали большую помощь командованию советских частей»<sup>7</sup>. Взгляды с разных сторон фронта на деятельность партизан – из штабов и из подвалов, где прятались жители, – оказываются противоположными. Раиса Степановна Горбаткова, 1929 года рождения, рассказала: «Нас бомбил наш земляк Кочубей Сергей. Он был летчик, здесь все знал и после войны хвалился, как точно он всегда попадал, когда ему приходилось бомбить здесь. Говорил, что сюда чаще всего посылали бомбить». Отношение к его подвигам у земляков было не слишком хорошим, хотя вслух, конечно, люди ничего не говорили.

Началось наступление под Москвой. 29 ноября 1941 года советские войска освободили Ростов. Перед отступлением фашисты стали жечь дома жителей Матвеева Кургана. Из воспоминаний Екатерины Ивановны Резниченко, 1929 года рождения: «Первым начали жечь наш край – улицу Разина. Мы увидели, что на соседней улице загорелся дом Чемикоса. Тогда еще не знали, что это немцы жгут, думали, случайно. Побежали тушить. У него был грудной ребенок, еле успели выскочить. И видим, что это немцы выводят скот, сами в черных комбинезонах, с факелами и канистрами с бензином, черные и страшные. Собаки лают, скот мычит, немцы-поджигатели не дают тушить, отгоняют автоматами. Началась паника. Мама с Валей, младшей сестрой, потерялись, мы их смогли найти только на второй день». Надежда Петровна Саломашенко вспоминает: «Команда здоровых, черных, в саже немцев подходит с факелами и с канистрами с бензином к дому. Почти все крыши из камыша. Подносят факел к крыше и стоят несколько минут, ждут, когда загорится как следует. Потом переходят к другому дому. Жгли дома три дня. К нам пришли от кладбища. Мы, пока к нам добрались, все вещи убрали в бочки в саду. Я выглянула из-за бочки – немец дал очередь. Они подошли к соседнему дому, там была полная бабушка, она стала просить, чтобы их не палили, так немец ее сильно толкнул, она упала. Но их дом не сгорел. У них был сын-полицай и дед, так они успели разобрать часть крыши, сгорел только фронтон. У нас остался цел потолок, была какая-то крыша. Мы жили так до 5 декабря, до эвакуации».

<sup>7</sup> Корольченко А. Миусские рубежи: Очерки о местах боевой славы. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1971. С. 9.

Матвеев Курган горел, как свечка. Все застлало дымом. Визжали собаки, плакали дети. От многих домов остались одни трубы. Видимо, в поджоге участвовали не только те солдаты, которые здесь были на постое, – пригнали и другие части. И некоторые очевидцы говорят, что немцы, жившие здесь некоторое время, предупреждали их или как-то содействовали спасению жилья. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Один офицер, который жил в нашем доме, позвал меня в сарай, где у нас хранилось сено, и жестами показал – я буду жечь (как будто чиркает спичкой о коробок), а ты туши (топал ногами, как будто сбивал пламя). Мама услышала, стала меня ругать – а вдруг немец решил позабавиться? Но мы все равно смогли спасти дом, а сарай с сеном сгорел. Потом соседи, чьи дома сгорели, некоторое время жили у нас». Екатерина Ивановна Резниченко вспоминает: «На подворье Нецветовых был немецкий штаб. Когда наши наступали, они заминировали хату и хотели взорвать, а хозяйка была беременная, просила их не взрывать, негде ей будет дитя рожать. Они не взорвали, а наши пришли и разминировали, хата осталась. Есть и добрые немцы».

Перед уходом фашисты задумали угнать с собой некоторую часть жителей. «В конце ноября 1941 года немцы заставили взять вещи и уйти из дома с ними на запад, – вспоминает Иван Григорьевич Столбовский. – Наша семья дошла до улицы Пугачевой, скрылась из виду немцев, стала уходить в сторону. По темноте пробрались в сарай тети Даши Соседкиной. Там уже был полный подвал людей, у которых спалили дома. Однажды ночью туда пришли наши солдаты, ребята-разведчики. Все очень обрадовались, а Надежда Ивановна их знала и раньше, и стала им рассказывать, и показывала на их карте, где у немцев что находится. Она знала, как какие части называются и какие пушки где стоят. Меня это тогда поразило». О том, что немцы, отступая, заставляли жителей уходить с ними, вспоминали и другие свидетели. Не всем удалось избежать этого. Так пропала семья Корсуновых, соседей Столбовских, которую немцы в числе прочих угнали в 1941 году. Их судьба неизвестна.

## **МАТВЕЕВ КУРГАН НА ЛИНИИ МИУС-ФРОНТА 4 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА – 22 ИЮЛЯ 1942 ГОДА**

27 ноября войска Южного фронта нанесли мощный удар по ростовской группировке врага с севера, востока и юга и 29 ноября освободили Ростов от фашистских оккупантов. 10 декабря 1941 года фронт прошел по реке Миус, по западной окраине поселка Матвеев Курган. Фактически сам поселок лежал на нейтральной полосе, находился в зоне перекрестного обстрела своей и вражеской артиллерии.

Здесь продолжали жить люди, которые не числились в списках войск, в том числе дети и женщины. Их принято называть мирным населением, но до мира было очень далеко, и они на своих плечах несли все тяготы жизни на фронте, не получая за это никаких наград, подвергаясь, так же как солдаты, смертельной опасности. Мария Яковлевна Бобкова, 1925 года рождения, вспоминает: «Стоял Миус-фронт. Мы копали окопы, где старый мост. Было страшно, копали ночью, немцы обстреливали сильно. Так мы хитрили – выкопаем по колено, присядем, как будто глубокий окоп вырыли, нас отпустят. А вечером опять тот же окоп докапывать приходится. Мы все были на списках, нас находили, отказаться было нельзя».

Окопы были в полный рост человека, в них сидели солдаты. Кухни находились у второй, а то и третьей нашей линии обороны, там же переформировывали войска. Вспоминает Надежда Петровна Саломашенко: «Старшина предложил стирать белье солдатам. Мама и соседка стирали, я гладила на высоком сундуке. Было два утюга, один грелся на печи, вторым гладила. Очень тяжело было так целый день работать, утюги тяжелые, руки все время на весу, голодные сидели. Все были голодные, в том числе и солдаты. Рядом за домом соседей стояла кухня. Я видела, что там готовили. Чистили мелкую-премелкую картошку, как лесной орех, потом и чистить ее перестали – так, помогут немного и в суп. Туда еще немного

крупы, и все, никакого жира. Была такая жидкость серого цвета. Нам предлагали за работу с этой кухни питаться, но мы редко оттуда еду брали, уж очень несъедобно. Поэтому и солдаты иногда траву, как и мы, ели по весне, а то и еду у жителей насильно отбирали».

Еду солдатам готовили в селе Поповка, в десяти километрах от линии фронта. Ясно, что доставка срывалась. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Сварит повар, везет на лошади едуна фронт кормить солдат. Немцы заметят с горы, начнут бросать десятки снарядов, пока не разобьют ее. Лежит в стороне убитая лошадь, повар убит, разбросана каша. Солдаты снова голодные. Им приходилось воровать у жителей. Так, ночью без спроса увели нашу корову, зарезали ее и принесли маме варить мясо. Мама догадалась, спросила у них об этом. Они молчат. Молчит и мама, со слезами на глазах готовила им еду. Война есть война...»

Но большинство жителей вспоминают, как радовались нашим войскам, как хотели помочь, как солдаты их защищали и делились этой скудной едой, особенно с детьми. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Однажды мы стояли в очереди за кашей к солдатской кухне вместе с подружкой Ниной Фатеевой. Нам солдаты не отказывали, но мы всегда становились сзади, чтобы сначала все солдаты поели. Получив еду в котелок, пожилой солдат подошел к нам и сказал:

– Идемте, детки, я вам дам кушать.

Мы пошли с ним. Он нам положил каши в чашки, дал по ложке, гладил нас по голове и любовно приговаривал:

– Кушайте, кушайте. У меня дома осталось трое деток, как они там?

Мы поели, поблагодарили его и ушли в подвал».

Мы нашли свидетелей, которые уезжали из поселка в эвакуацию всего на несколько дней, возвращались домой, видели все, что здесь происходило в то жуткое время. Многие, рассказывая, удивляются: как живы-то остались! Мы, слушая их, тоже этому поражаемся. Возникло чувство особого уважения к людям, которые пережили все это и остались людьми, смогли жить дальше, растить детей, строить на этой земле новые дома, работать и вообще сохранить рассудок. В памяти навсегда остаются те, кто ценой своей жизни спас тебя. Раиса Степановна Горбаткова вспоминает: «У нас в огороде была большая воронка от бомбы. Солдаты, которые жили у нас в доме, говорили, что дважды в одно место бомба не упадет. Они прятались в этой воронке. И вот налетели фашистские самолеты, и мы с братом побежали с ними в воронку. И тут бомбы начали на нас сыпаться. И солдаты, фамилия одного была Деревянко, прикрыли нас с братом собою. Одного убили сразу, а Деревянко ранили в позвоночник, выглядывали белые жилы, как он поворачивал голову. Он страшно мучился. Мы отнесли его в перевязочный пункт на улице Кооперативной, он жил еще дня два, а потом умер».

Фронтная жизнь имела свои законы. Здесь размещались разные войсковые части, их штабы, госпитали. Продолжались бомбежки – теперь уже бомбили немецкие самолеты, бомбили днем, по-прежнему летая большими группами. Немцы вели огонь с Волковой горы, стреляли тяжелые пушки по всему, что двигалось. Особенно сильно обстрел ощущали в центре поселка на единственной замощенной улице Московской, где во время распутицы сосредоточивались войска, а также по второй линии обороны на восточной окраине поселка. Даже выйти за водой к колодцу или за топливом из подвала здесь было опасно. Питались сухомятку. Выжить в этих условиях было очень трудно. На первой линии обороны у реки было легче, там меньше били немцы из тяжелой артиллерии, опасаясь попасть по своим позициям. Весь поселок у немцев был разбит по квадратам. Если видели с горы шевеление – солдат пройдет или даже собака пробежит, – снаряды летели туда.

Вспоминает Иван Григорьевич Столбовский: «Ранней весной 1942 года в нашем доме и в доме Климентьевых был полевой госпиталь. Мы в погребе жили. Здесь была вторая линия

обороны, окопы шли извилисто, в степи, где сейчас дом Скороходов, был блиндаж. Сюда приносили и привозили на повозках раненых с передовой линии и со всего поселка. В нашем доме жили и работали врач и три медсестры. В нем было всего две комнатухи и кухня, так что в самом доме размещали только тяжелораненых и офицеров. А солдат раненых размещали в окопы, где они ждали, когда их отсюда куда-нибудь отправят. Часто умирали, потому что их было очень много, а медсестрички с ног валялись, не успевали всех посмотреть и оказать помощь. Они же и мертвых хоронили, привлекая солдат и жителей. У каждого солдата был медальон, похожий на патрончик. В нем хранились его данные. Медсестры их собирали у мертвых. Хоронили здесь же, в окопах, и дальше по степи, используя одиночные окопы. До кладбища под бомбежками было не добраться. Так что здесь под домами и по огородам на нашей улице много мертвых лежит, никто их не перезахоранивал, так здесь и остались».

Мы впервые услышали о безымянных могилах под ногами и в дальнейшем стали специально расспрашивать о них. Нам открылись страшные вещи. Весь наш поселок, такой чистый, красивый и родной, стоит на костях. На могилах без крестов, без звезд и без памятных плит. На могилах, о которых все забыли, на могилах не только советских солдат, но и мирных жителей, и немцев, и румын, и казаков-предателей, одним словом, на могилах людей. Перезахоронений было относительно немного, только когда что-нибудь строили и вдруг натыкались на кости. Особенно нас потряс факт, рассказанный Еленой Николаевной Белошенко. Мы встретились с ней случайно, когда шли домой из районной библиотеки. Она, показывая на асфальт под ногами, сказала, что во время бомбежки зимой 1942 года здесь на ее глазах погиб неизвестный солдат. Люди, которые находились рядом, его не знали, медальона у него не было. Его похоронили здесь же, в воронке, просто присыпали камнями и комьями мерзлой земли. С тех пор он тут так и лежит, под центральной улицей поселка. Как-то неудобно стало ходить по улице, зная, что где-то рядом под ногами могила. А еще мы подумали, что где-то у него остались родные, которые никогда не узнают, где покоится близкий им человек. Так вот она какая, настоящая могила неизвестного солдата, а вовсе не та, что у Кремлевской стены!

Но дети оставались детьми, им хотелось играть с подружками и друзьями, хотелось бегать по улице. Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Надоело сидеть в подвале и днем и ночью, побегу к подружке в ее подвал. Тепло, я надела сарафан красный и побежала. Метрах в трехстах она от меня жила. Не успела я прибежать, как три снаряда полетели на меня. Ох, и было мне от солдат! Они меня ругали, говорили, что я красным сарафаном немцам сигнал подала – бить сюда. Мне было стыдно». Иван Григорьевич Столбовский вспомнил, как убило Ивана Соседкина, на два года старше его. Дети играли на улице, перебегали из подвала в подвал через дорогу. Снаряд разорвался рядом с мальчиком. Ему пробило грудь насквозь. Его похоронили в их саду, на кладбище под обстрелом было не попасть. Сейчас это огород других людей. Это тоже забытые могилы жертв войны.

Нам рассказывали, что таких могил было много.

Нельзя сказать, что военное начальство не пыталось вывезти жителей с линии фронта. Но, расспрашивая людей об эвакуации, мы видели, что она еще больше увеличивала страдания большинства из них, что люди были не устроены на новом месте, что многие возвращались обратно, под бомбы и разрывы снарядов, но к своему очагу. Многие говорили, что после бомбежки самое страшное – эвакуация.

Вспоминает Надежда Петровна Саломашенко: «Пришли военные и приказали всем эвакуироваться. Кто не пойдет – вплоть до расстрела. 5 декабря 1941 года был снег с дождем, сильный ветер. Сзади и по бокам стреляют, а по дороге на Политотдельское сплошным потоком идут люди. Шли ночью. Повесили на спины котомки, бредем по каше из мокрого снега. Сбоку дороги, вижу, сидят дети, потерялись, плачут, сзади бежит мать и кричит, воют собаки, кричит скот. Я все спрашивала:

– Сколько мы прошли?

Мама отвечала:

– Километр... Два...

Я думала, не дойду до конца. Дошли до Кубрина. Поселили в большом пустом доме. Раньше там немцы-колонисты жили, которых в августе 1941-го выселили. Спали на полу, рядами, как были, в мокрой одежде. Жили так, пока не кончились продукты. Кормить нас там было некому. Вот и пошли мы домой обратно. А здесь – шаром покати, все, что оставалось, забрали для солдат. Я думаю, нас специально выселили, чтобы продукты забрать». Из воспоминаний Антонины Алексеевны Ниценко: «Нас пытались эвакуировать в Марьевку. Пришли туда, дождь со снегом идет, а крыши над головой никакой. Мама плачет, дети кричат. И солдатам крыши нет, но у них хоть плащ-палатки, ими прикрывались, а мы под дождем со снегом мокнем и замерзаем. Мама попросила офицеров:

– Ради Христа, верните меня в мой подвал, мы там хоть 30 человек сможем жить, все крыша и еда кой-какая есть!

И нам выделили три подводы, с нами еще соседи поехали, нас вернули на фронтную полосу. Тут мы и жили все время».

Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко, 1934 года рождения: «В начале 1942 года нас погнали в эвакуацию. Маленькую Анюту (ей было четыре года) завернули в кожу и положили на телегу. Мы – мама и нас трое – шли сзади пешком. В спешке не заметили, как Анюта упала с телеги. Когда мать обнаружила это, хотела вернуться, а солдаты не пускали, потому что немцы там стреляли. Мать сказала:

– Убейте меня, а я вернусь за дитем.

И солдаты вернулись вместе с нами и нашли Анюту. Она мирно спала на дороге около старого кладбища по Московской улице.

Нас эвакуировали в Плато-Ивановку Родионо-Несветаевского района».

Неизбежно между хозяевами и эвакуированными возникали какие-то человеческие отношения, если удавалось устроиться в каком-то доме. Часто именно от них зависело, оставались ли эвакуированные пережить трудные времена в этом месте или же возвращались обратно. Из воспоминаний Екатерины Ивановны Резниченко: «Нас эвакуировали в Марьевку. Никто не пускает, на улице ночевали, погода – дождь со снегом. Утром сельский совет нас распределил. Хозяйка была гадюка. Нас пустили только в холодный коридорчик, дверь закрывали, тепла нам совсем не было. Мама родила Виктора, помыть негде, холодно, хозяйка не пускает в дом. Прошел военный, посмотрел, ничего не сказал ей. Я ему и говорю:

– У вас есть чувства?

Рассказала ему о маме и братике. Он приказал хозяйке открыть дверь в дом из коридорчика и, чтоб было тепло, не закрывать.

А вскоре и хозяйке пришлось ехать в эвакуацию, немцы наступали. Забегалась, у нее много схоронок с продуктами было, а взять нельзя. Осталась голой, как мы».

Особенно плохо, как вспоминают все наши очевидцы, к беженцам относились в казачьих районах Ростовской области. Там их считали иногородними, раз они не казаки, часто не пускали во двор. Раиса Степановна Горбаткова вспоминает: «В феврале 1942 года нас эвакуировали, мы шли пешком в сильный мороз ночью. Кругом стреляли осветительные ракеты. Дошли до Кубрина. В сарай затолкали 57 человек. Спали один на другом. Через какое-то время нас, восемь человек детей из Матвеева Кургана и бабушку 80 лет, посадили на грузовик и повезли в казачьи станицы под Персиановку. Подъехал шофер ко двору, мы просим воды, а казачка вышла и сказала:

– Нет тут вам воды, едьте дальше!

И она заперла колодец, он у них на замок запирался. Шофер ее долго просил, но она так и не отомкнула. Он подвез нас к роднику под горой, там мы напились. Он нам спускаться

с машины не разрешил, а носил нам воду в котелке. С родителями встретились уже на квартире у хозяев, с трудом нас разыскали». О таком же отношении вспоминает Надежда Ивановна Панченко, Надежда Петровна Саломашенко и некоторые другие. Однако попадались и хорошие люди, которые понимали, что люди попали в беду, делились, чем могли.

Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко: «В эвакуации жили у людей вместе с курганской семьей. Хозяйку звали тетей Капой. Мама очень болела малярией, не думали, что выживет. Солдаты поили ее хиной, она была вся желтая. Ей очень хотелось куриного бульона, она верила, что если поест его, то выздоровеет. Тетя Капа отдала нам свой отрез, который хранила с довоенного времени, а тетя Аксютя, другая женщина из Кургана, что жила с нами, сменяла его на хуторах на курицу. Мама поправилась».

Но часто война настигала беженцев и в эвакуации. Эвакуировали их всех недалеко, иногда в села и хутора Матвеево-Курганского района, иногда в соседний район, Родионо-Несветаевский. От линии фронта – не больше чем за 70-100 км.

Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «Фронт остановился, атаки учащались. Командование приняло решение: выселить жителей. Мы не хотели уходить, но приказ есть приказ. Первый раз ушли ночью в Политотдельское. Атам тоже обстрелы, еще страшнее, день и ночь бьет немецкая артиллерия. Мы ночью ушли домой. Снова пришли солдаты: „Уходите, вам здесь быть нельзя“. Пошли вместе с соседями тоже ночью. Ветер с мелким дождем, понуро бредут беженцы. Но куда идти? Подальше от линии фронта и все. Остановились в хуторе Бутенко, недалеко от Кубрино.

Через неделю в хутор нагрянуло много войск. Теснота, мы ушли в другую хатку, на окраину. Обстрелы страшные. Самолеты немецкие нагло над головами летают, бомбят. Много солдат убило. Копать ямы не успевали, да и обстрел мешал. Так убитых бросали в колодец. Я заглянула в один, испугалась. Там тела лежали в беспорядке, то рука торчала, то нога. До самого верха колодец был забит».

Как-то не хочется комментировать такие рассказы. От ужаса, которым веет от этих подробностей, кончаются всякие слова. Это правда любой войны.

Трудно сейчас рассуждать, виновны ли власти в том, что беженцы оказались так не устроены, что многие из них не имели никакой возможности прокормиться и вообще можно ли было все организовать лучше? Страна переживала тяжкие испытания. В оккупации и в районах боевых действий оказалось очень много людей. Наверное, вывезти, как-то спасти всех не было возможности. Но поражает равнодушие местных властей. Только в одном случае мы столкнулись с каким-то участием сельского совета, а так получается, что властям было не до проблем несчастных бездомных людей, эвакуированных в их местность.

Из эвакуации большая часть жителей вернулась, когда в те места, куда они были эвакуированы, тоже пришли немцы на гребне наступления на Сталинград.

Лишь немногие, у кого здесь не осталось жилья и кому удалось наладить отношения с хозяевами, вернулись после окончательного освобождения района.

## **ИСТОРИЯ АТАКИ 8 МАРТА 1942 ГОДА. ГЛАВА В ГЛАВЕ**

На той самой решающей высоте 105,7 метра, или, как ее зовут у нас, Волковой горе, сегодня стоит памятник. Его видят все издалека. Это якорь высотой восемь метров. Нас всегда интересовало, почему он там находится? Ведь море не близко. Став старше, мы услышали в школе о трагических событиях, произошедших 8 марта 1942 года, но больше нам рассказывали о героизме моряков, штурмовавших эту высоту, чем о подробностях, связанных с гибелью, как мы считаем, напрасной, тысяч людей. И вот мы расспросили очевидцев, которые имели возможность наблюдать за атакой, изучили материалы печати, прочитали воспоминания военных. Но, как и прежде, мы смотрим на эти события глазами не военных, а

мирных жителей, людей, живших здесь в это время. Может быть, взгляд немного однобокий, может, существовали какие-то оправдания массовой гибели лучших войск, может, профессиональные военные имеют другой взгляд. История этой атаки нас взволновала, не прошла она бесследно и для тех, кто в детстве наблюдал за гибелью моряков.

Мы приводим свидетельства детей, видевших эту атаку. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «У нас стоял в доме штаб, ко мне хорошо офицеры относились, даже учили стрелять из пистолета. На чердаке сделали наблюдательный пункт – далеко ватно от окопов, правда? Оттуда смотрели в бинокль на атаки. Мне тоже давали в бинокль посмотреть. 8 марта было хорошо видно, как морячки в черных бушлатах по белому снегу бегут на пулеметы. Очень много их погибло. Обещанные танки не пришли. Пойма долго была нейтральной полосой, убрать оттуда всех было нельзя, а когда наши отступали к Сталинграду, те, кто косил там сено, рассказывали, что трупы лежат очень густо». Петр Егорович Журенко вспоминает: «Мы с друзьями видели, как морячки бежали в атаку. Они прорвали фронт, но не смогли до конца удержать. Все поле было черным от погибших морячков. Мы сидели на трубах сгоревших домов и оттуда наблюдали».

Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: «В начале марта в поселок прибыли моряки-черноморцы. Красивые, молодые, уверенные в себе. Мама смотрит на них и плачет. Они говорят маме:

– Чего вы плачете, мы же моряки, мы победим!

А она им говорит:

– Эх, детки, немец вооружен до зубов.

Рано утром, почти рассвело, моряки переправились через Миус и пошли пешком по снегу в атаку на Волкову гору. До горы два километра. Я побежала к двухэтажному дому (бывшее общежитие механизаторов МТС). На втором этаже смотрел солдат в подзорную трубу и говорит мне:

– Посмотри, как моряки в атаку идут!

Я посмотрела в трубу, шли моряки в шахматном порядке. Их отлично было видно, ведь вокруг был белый снег. Ноги увязали в снегу и в грязи под ним, идти было трудно. Смотрю я в трубу и говорю:

– Ой, уже убитые лежат?

– Нет, это моряки свои бушлаты снимали и идут в тельняшках.

На фоне белого снега их фигуры казались серыми.

– Почему выстрелов нет, снаряды не рвутся? – спрашиваю у солдата.

– А немцы утром не стреляют. Солдаты на ночь уезжают спать в село Латоново, остаются одни патрули на огневых точках. К обеду приедут, и завяжется бой. Мы это проверяли.

Так и получилось. К обеду прибыли не только солдаты, но и танки, и новые силы врага. К ночи бой утих. На поле боя остались лежать раненые и убитые».

Может быть, в записках Антонины Григорьевны действительно раскрыта причина относительно легкого завоевания Волковой горы до обеда 8 марта – то, что немцы ночевали в Латоново, и были только боевые охранения на высоте, которые и сообщили об атаке, а после обеда подошли основные силы с подкреплением.

Бои продолжались еще два дня, к 10 марта они были приостановлены. «В ходе трехдневных боев 68-я морская стрелковая бригада потеряла убитыми и ранеными 2100 человек. После неудачного наступления командир 68-й морской стрелковой бригады капитан второго ранга Г. К. Иванов был отстранен от командования бригадой, вместо него назначен полковник Шаповалов... В итоге боев с 8 по 17.03 68-я морская стрелковая бригада потеряла 2532 человека, в том числе убитыми 639 человек и ранеными 1893 человека»<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Боевая летопись военно-морского флота 1941–1942 годов. М.: Воениздат, 1983. С. 426–427.

Такое бессмысленное и кровавое уничтожение тысяч воинов оставило глубокий след в душах жителей. Отстранение от должности казалось им несущественным и вовсе не наказанием за такую вину...

Сельсовет мобилизовал жителей, в том числе подростков, на захоронения погибших. Об этом нам рассказал Николай Платонович Моисеенко, 1929 года рождения. В захоронениях участвовал его друг, Михаил Еловенко, ему было 15 лет (к сожалению, сам Еловенко с нами разговаривать не стал, сказал, что вся правда о войне нам ни к чему, будем спать лучше и вообще лучше читать книжки, в них власть знала, что писать!). Но, несмотря на это, мы считаем, что делаем дело очень важное: как же мы узнаем правду, если нам ее не расскажут те, кто непосредственно участвовал в этих событиях? Николай Платонович Моисеенко рассказал, что на месте, где сейчас находится Мемориал, была большая воронка от авиабомбы. В ней хоронили убитых, в том числе и погибших моряков, и мирных жителей, и погибших солдат других частей. Мертвые тела кидали туда, и никто не считал, сколько их там, просто обрушивали края воронки, присыпали кое-как, и новых хоронили сверху, и опять присыпали. Для нас это стало открытием. В районном отделе культуры мы нашли «Информационный паспорт № 1 объекта историко-культурного наследия. Наименование памятника: Мемориал „Погибшим воинам“». В документе сказано, что «в братской могиле похоронено офицеров 45 человек, солдат, сержантов и старшин 400 человек. Автор (скульптор) Валентин Иванович Перфилов. Дата создания 1968 год». Но мы склонны верить людям, подтверждающим слова Николая Платоновича Моисеенко о том, что никто не считал мертвых в этой могиле. Мы имеем свидетельства, что там хоронили умерших жители окрестных улиц и во время сильных бомбежек, и позже, когда обессиленным от голода трудно было добраться до кладбища и копать там могилу. Некоторые говорили, что уже в 1943 году туда кидали и немцев, умерших во время боя во дворах у жителей. Да и моряков, и солдат, похороненных там, не считали. Никаких документов мы не обнаружили, а участники захоронения говорили, что никто из начальства ничего не писал, уж очень их мало было, начальников на линии фронта, да и бомбежки не прекращались.

Николай Иванович Бондаренко, 1937 года рождения, вспоминает: «Когда наших морячков побило на берегу, мы с другом (нам было лет по шесть-семь) возили на тачках мертвых на кладбище. Найдем где в поселке или за рекой мертвяка, погрузим на тачку – сначала голову грузим, потом ноги – и везем на кладбище... За один рейс давали рубль, хоть одного привези на тачке, хоть двух. Могли заработать за день пять-семь рублей, на четверть булки хлеба. А вшей на мертвых было! Крупные такие. Мать придет с работы (ее тоже куда-то посылали), выварит одежонку от вшей, высушит, а утром опять идем. Голодные были, а тут какой-то заработок». Трудно представить современного первоклашку за таким занятием – собирать мертвых и отвозить на кладбище за рубль под бомбежкой и обстрелами. Как тяжело и страшно было это делать маленьким детям!

Нам понятно отношение к умершим в 1943-м, когда главной задачей было их все-таки как-то похоронить и сделать землю в прямом смысле слова пригодной для обитания живых. Но сегодня, в пышности празднеств и фейерверков, мы опять забываем о мертвых, отдавших жизни за нас, за то, чтобы мы вообще жили. А между тем с высоких трибун слышим: пока не похоронен последний солдат, война продолжается. Можно ли считать, что солдат похоронен, если неизвестно вообще, сколько их там? Или же наспех зарытые окопы с мертвыми – тоже захоронения? Или же трупами наполненные колодцы? Или забытые могилы в огородах или под домами, построенными после войны? Или мирные жители, погибшие на линии фронта?

## ВТОРАЯ ОККУПАЦИЯ МАТВЕЕВА КУРГАНА 22 ИЮЛЯ 1942 ГОДА – 17 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА

22 июля 1942 года в Матвеев Курган вошли немецкие войска. Началась вторая оккупация поселка. Вновь открылись комендатура, жандармерия, вновь появились полицейские из местных предателей. Снова полное бесправие, унижения от оккупантов, снова ощущение бессилия. Некоторые жители возвращались из эвакуации из мест, тоже занятых немцами. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «В мае 1942 года нас вывезли в Кизетеринку. Казаки там нас принимали плохо, не кормили, говорили:

– Сталин вас привез, Сталин и увозит (имели в виду на кладбище, что мы поумираем все от голода).

И когда немцы стали наступать на Сталинград, жить там стало нельзя. Мы запрягли в маленькую тележку старую лошадь и корову (их никто не забрал, потому что они были старые и слабые), погрузили вещи и пошли навстречу немцам. Их колонны шли с танками, они ехали сверху, играли на губных гармошках, смеялись над нами и даже фотографировали, кричали:

– Сталин транспорт!

*Мы шли пешком рядом, на тележку садились, только когда кто-то сильно устанет».*

В здании конторы нефтебазы немцы открыли школу. Учителя были из Германии. Учили немецкому языку и биографии Гитлера. Учеников было немного, около 20 человек. Планировалось там учить детей до третьего класса, то есть давать начальное образование. На этом для русских оно должно было закончиться. Но учение продолжалось месяца два, а с наступлением наших войск учителя уехали.

В августе 1942 года через Матвеев Курган проходили колонны наших военнопленных. Тяжело было видеть своих солдат в таком положении. Из воспоминаний Екатерины Ивановны Резниченко: «Услышали шум. Лаяли собаки, что-то кричали немцы, вообще был гул. Выскочили посмотреть. Возле пожарки по улице Таганрогской шла колонна пленных. Ее гнали автоматчики с собаками. Ее начало было здесь, а хвост вился у Ротовки, шли в ряду по шесть-восемь человек. Жители прибежали и начали кидать в колонну продукты. Началась суматоха, немцы стали стрелять в воздух и по пленным, а нас отгоняли пинками. Но все равно колонна сбилась, началась свалка. Несколько человек сумели убежать. Пленным удалось спуститься в подвал по улице Разина, где жили соседи. Но охрана пленных оттуда вытащила и расстреляла во дворе, а соседей, правда, не тронули. Солдат этих закопали в огородах под шелковицей. Их никто потом не перезахоранивал, так они там и лежат. А вечером мы у своей коровы в яслях обнаружили солдата, спрятали его, накормили, переодели, и ночью он ушел. Мама моя жила до 96 лет, умерла только два года назад, и часто его вспоминала, удалось ли ему выжить? Очень он ей тогда понравился, человек был хороший, сразу чувствовалось».

Раиса Степановна Горбаткова вспоминает: «Когда немцы гнали колонну наших пленных из-под Сталинграда, мама сказала, чтобы мы понесли им еды. Я набрала картошки, морковки, свеклы и бросала пленным. Подскочил немец и ударил меня кованым ботинком по ноге ниже колена. На третий день нога у меня воспалилась. У нас в хате поселились немцы, какие-то некрасивые все, толстые, рыжие и мордатые. Они ремонтировали мотоциклы. Я лежала в комнате на кровати, а потом зашел немец, увидел мою ногу, закричал:

– Век, век, шайзе! (вон, вон, гадость!)

Нас всех выселили в коровник, я лежала рядом с коровой, жили мы в хлеву и в окопе. Меня брат тягал в окоп во время бомбежки. Потом корову угнали немцы, стало нам совсем худо, пока не пришли наши. Я семь лет была прикована к постели, нога гнила, и я не могла

потом долго на ноги подняться. Только когда голод кончился, в 1950 году, Бог помог на ноги встать».

Мы обратили внимание, что жители считали за доброту иногда просто то, что немцы их не трогали или что просили о каких-то услугах, а не приказывали хозяевам тех домов, где размещались. Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «У нас была дойная корова. Пришел молоденький офицер в портупее, посмотрел на деток и говорит:

– Млеко киндер? (дети молоко пьют?)

Мама сообразила, в чем дело, и предложила, что один день весь удой им будет отдавать, а один день мы его будем пить. Офицер обрадовался. И мы честно отдавали им через день столько молока, сколько надоится. А во дворе у нас была копна сена и копна соломы. Рядом по соседству находился комендант железнодорожный, и вот один шофер повадился в морозы машину радиатором затыкать в стог, чтобы она легче заводилась. Раз так сделал, второй... Мать забеспокоилась, что корова не станет есть вонючее от бензина сено, что тогда? Пожаловалась тому офицеру, что за молоком приходил. А он сказал, чтобы пожаловались коменданту, ведь он тоже молоко пьет. И мама, обмирая от страха, пошла к коменданту. Тот выслушал через переводчика, ничего не сказал, а мать была рада, что вернулась жива. Больше тот шофер так не делал».

На восстановительные работы на железной дороге заставляли ходить и местных жителей. У людей просто не было выбора: или работать на оккупантов тут, или угонят в Германию. Этого боялись больше всего. Доходили слухи о мучениях в концлагерях, видели, как обращались с военнопленными немцы. Даже если повезет и попадешь к хозяину, а не в лагерь, то все равно будешь на положении раба. Иного отношения не ждали, видели, как здесь к местным относятся, но на родине все же проще, чем в чужом краю. Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко: «Были девушки, которые, чтобы не угнали в Германию, гуляли с немцами. Им потом, когда пришли наши, за предательство дали по 10 лет лагерей, но они отсидели, живут себе благополучно до сих пор. А те, которых угоняли, многие погибли в концлагерях. Одну чуть не убил ее дед за то, что гуляла с немцами. Она от позора уехала в Краснодарский край к деду, а он узнал и чуть ее не придушил, родные отняли и прогнали – езжай, от греха, откуда приехала. Она вернулась обратно, и тут ее посадили». Мы расспрашивали, а не могло ли возникнуть настоящей любви, ведь все же люди. Но наши очевидцы говорят, что у таких девушек ухажеры сменялись, когда один уезжал в отпуск, или на фронт, или еще куда-нибудь, то сразу новый находился. Какая уж тут любовь!

Вспоминает Мария Васильевна Волощукова: «Была учительница немецкого языка, немцы заставили ее быть переводчицей. Потом, когда наши узнали, что она на немцев работала, ее расстреляли. Это было сразу после освобождения». Иногда люди не могли отказать не столько немцам, как своим же односельчанам, когда их выбирали старостами. Вспоминает Иван Григорьевич Столбовский: «Немцы захватят село, соберут людей и заставят выбрать старосту. И вот выбрали Беликова в Петровке. Беликова вызывают в комендатуру и заставляют отчитываться. Он, как только его избрали старостой, пораздавал колхозное добро людям, чтобы не досталось немцам. Когда его в комендатуру вызывали, он не знал, вернется домой или нет, поэтому меня с собой брал, чтобы я рассказал родным, если его не выпустят. Каждый раз как в последний к немцам шел. Когда наши пришли, он с котомкой пришел к нам:

– Где тут штаб, я пришел сдать себя сам, потому что был старостой, чтобы меня не искали.

Его забрали, но где он, я не знаю. Не слышал, чтобы он сидел. У него сыны были большими офицерами в нашей армии».

Но были и случаи прямого предательства. Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «В августе 1942 под Ротовкой упал наш самолет, а летчику удалось спастись в кукурузе. Люди его прятали, а выдала одна дивчина с Таганрогской улицы. Его немцы куда-то увезли.

Так когда наши пришли, ей дали 25 лет лагерей». Все рассказы оканчиваются именно так – предателей ждет возмездие. Может быть, здесь желание справедливого конца, как в детской сказке, может быть, какое-то назидание нам от людей, столько переживших: даже минутная слабость в такие непростые времена будет наказана, а уж о предателях и говорить нечего! Их возмездие должно достигать везде, суд должен быть скорым и справедливым! Здесь мы узнали, что многие люди старшего возраста поддерживают до сих пор репрессии по отношению к предателям, считая, что Сталин был прав в жестком, даже жестоком наказании их.

Больше всего жители, рассказывая о предателях, говорили о казаках, служивших немцам. Мы видели, что здесь смешалось все: и давние притеснения иногородних на Дону, какими считали жителей нашего района – не казаков, и казачья надменность, и усердная служба оккупантам. Казаки в нашей местности патрулировали дороги. Вспоминает Лидия Николаевна Шаталова: «Мать вышла замуж перед самой войной в село Троицкое. Я жила у бабушки в Матвеевом Кургане. Меня возили на бричке туда-сюда всю войну. Самое страшное при поездке было нарваться на казачий полицейский пост. Служили там старые казаки, не годные для строя, но очень злые. Они могли убить ни за что, всегда устраивали обыск в вещах, кидали на дорогу детские мои вещички и заставляли подбирать из пыли и грязи. Но при немцах вели себя лучше. Бабушка, когда видела, что полицаи-казаки с немцами вместе, говорила: „Слава Богу, казаки вместе с немцами, даст Бог, уцелеем“».

О том, что происходило теперь на фронте, в стране жители не знали. Радиоприемники конфисковали еще в начале войны советские власти. Было разрешено только слушать радио по трансляции, но в оккупации оно не работало. Новости, которые печатались в немецких листовках, считали лживыми. Поэтому ловили любые слухи о событиях на фронте, самые невероятные, лишь бы они отличались от немецких листовок.

Наше внимание привлекли рассказы о румынах. Массы румын прошли через наши края сначала вместе с немцами на Сталинград, а потом были первыми вестниками того, что не все у врага ладно на фронте, раз союзники покидают его, да еще в таком виде. Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «Румыны в основном в кавалерии служили. Были очень красивыми, когда на фронт ехали. Усы, завитые в кольца, какие-то нашивки золотые на мундирах, лошади гарцуют с подрезанными хвостами. А обратно пошли зимой, бросили фронт под Сталинградом. Сопливые, в обмотках, грязные, вшивые. Немцы их били прикладами, потому что они пытались залезть в вагоны, чтобы уехать на запад. Гитлер их обманул: обещал отдать Украину под дачи офицерам, а потом отказался, вот они и пошли с фронта, подкузьмили Гитлеру!» Конечно, не совсем точно передает Антонина Алексеевна причины бегства румын с фронта. Поражение под Сталинградом было таким явным, что союзники поняли: это начало конца гитлеровской Германии. Румыны первые бросили фронт, еще до наступления Нового года. Иван Петрович Журенко рассказывает со слов своей матери: «Когда первые румыны стали уходить из-под Сталинграда, не дожидаясь января 1943 года, их тут встретили немцы и в Соленой балке расстреляли около 200 человек. Их никто не хоронил, долго еще кости находили в балке». Зима 1942/43 года в отличие от прошлой, слякотной, была морозной и снежной. В наших южных краях замечалось так, что иногда утром выходили через лаз в потолке на чердак и только потом могли откопать дверь от снега. А каково такой ночью в степи? Приходилось на постой проситься к жителям. Надежда Ивановна Панченко рассказывает: «Румын мы не боялись, хотя добро от них стерегли. Они очень боялись немцев, и стоило им сказать: „Комендант“, как они начинали вести себя прилично. Стучали, когда просились на постой. Мой маленький племянник, который только начал говорить, показывал: „То, то?“ (кто, кто? – и стучит в дверь), „Мыны, мыныа (румыны, румыны)“». Однако, когда их было много, с хозяевами они не очень церемонились.

В нашей школе немцы открыли госпиталь. Раненых из-под Сталинграда было очень много. Часть из них умирала. Немцы для всех делали гробы, просто так не хоронили. Умер-

ших офицеров старших чинов отправляли в Германию. Целые эшелоны с гробами видели люди: отсюда с пустыми гробами, туда – с мертвыми. Рядом со школой, по свидетельствам очевидцев, было 250–300 немецких могил. Их потом, когда пришли наши, выкопали и вывезли на скотомогильник. Несколько подвод было доверху груженных, и не один раз они вывозили трупы, ездили по поселку туда и обратно. Гробы использовали на растопку. И вновь оказывается, что мы живем на могилах – пусть и врагов, но людей. И, кстати, жителям, пережившим весь ужас оккупации, вовсе не понравилось извлечение мертвых из могил, все они говорили, что напрасно прах потревожили, мстить мертвым нехорошо.

Немцы, жившие на постое в Матвеевом Кургане, стали готовиться к отступлению. Было ясно, что фронт опять приближается. Участились бомбежки, жители снова надолго переселились в подвалы. Вспоминает Раиса Степановна Горбаткова: «Опять в 1943 году при отступлении немцы стали все жечь. Дома обливали керосином, зажигали изнутри, разбивали окна и кидали туда факелы. Пелагея Соседкина как раз рожала в то время, когда с двух сторон подожгли ее дом. Люди помогли ее вытащить, а она страшно кричала, не понять от чего, от пожара или от родов. Родился мальчик Виктор, но его уже нет, умер взрослым». О том, что опять специальная команда жгла уцелевшие дома, вспоминают и другие свидетели. Причем на этот раз они зажигали дома изнутри, спасти его от пожара было уже нельзя, громили каждый уцелевший дом.

Многие немцы, которые здесь стояли долго, понимали, что уже с хозяевами не встретятся. Вспоминает Моисеенко Виктор Матвеевич: «У нас был какой-то штаб. И адъютант молоденький любил с мамой беседовать. Когда они отступали, он заскочил к нам:

– Мама, скоро твой брат придет. Гитлер Сталинград капут!»

Период оккупации лег тяжелым пятном на биографии старшего поколения. Правды о том, как здесь жили оставленные во власти врага люди, руководители страны знать не хотели, подозревая, наоборот, всех своих граждан в предательстве. Потому так мало награжденных в нашем районе медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» или «За оборону Кавказа», так мало отмеченных какими-то наградами. А между тем они были, как мы убедились, настоящими фронтовиками, не входящими ни в какие списки. Но эти фронтовики не могут надеть ордена ни на какие праздники.

## **МАТВЕЕВ КУРГАН НА ЛИНИИ МИУС-ФРОНТА 17 ФЕВРАЛЯ – 29 АВГУСТА 1943 ГОДА**

Вспоминает Федор Федорович Ростенко (он живет и сегодня на улице Таганрогской рядом с нашей школой): «Сюда (показывает на дорогу) рано утром подошел броневик, на нем ехали капитан, старшина и солдаты, человек восемь. Дальше прямо за школой было несколько домиков, и до МТС было поле. Оттуда начали стрелять. Старшина поехал и привез шесть казаков. Они воевали за немцев. Офицер велел им вывернуть карманы, там были патроны, наши и немецкие. Мы, пацаны, крутились тут же и собирали их. Казаков увели и расстреляли в балке по Таганрогской улице сейчас же». О захваченных нашими войсками казаках вспоминает и Столбовский Иван Григорьевич: «Были доты и дзоты по пригорку, где сейчас улица Ростовская, возле современного элеватора. Немцы отошли на Волкову гору, а казаки остались и еще два дня стреляли оттуда из винтовок и пулеметов. Их окружили по лесополосе вокруг железной дороги, а с другой стороны выехали броневик и танкетка. Думали, что там немцы засели. Казаки увидели, что их окружают, и захотели сбежать к немцам на гору, выбежали из своих укрытий в лесополосу, там их и поймали. Их было больше 20 человек. Их пригнали в соседнюю с нами хату, допрашивали трое суток. Среди них были два малолетки, почти наши ровесники. Все были в казачьей форме, и мальчишки тоже. Все

они стреляли в наших. Их расстреляли всех после допросов и захоронили в балке, где сейчас построен мясокомбинат». Эти расстрелянные казаки – тоже могилы у нас под ногами.

Армии Южного фронта упорно в течение нескольких недель стремились прорвать фронт, развить наступление. Войска несли большие потери, но сил выполнить поставленную командованием задачу не было. Вновь немцы закрепились по гребню Волковой горы, вели обстрел поселка с высоты. Но наши войска на этот раз свои укрепления не стали возводить в самом поселке, а заняли удобные позиции по холмам на восточной окраине Матвеева Кургана. Он оказался весь в нейтральной полосе – здесь не было ни немцев, ни наших, только жители, которых обстреливали и те и другие, бомбили и те и другие.

Хоронили мертвых на этот раз не в самом поселке. Мы нашли свидетелей таких захоронений. Вспоминает Валентина Федоровна Ковалева, которая во время войны жила в хуторе Борисовка: «При нашей армии в нашем доме был штаб, нас выселили из дома, мы жили у соседей. Видели машины с убитыми, которые приезжали, когда темнело. Мертвых привозили на грузовиках, накрытых брезентом. Всю ночь штабные работали, что-то писали, а рано утром их хоронили. Мы старались прийти, смотрели, искали родных. Копали ямы экскаватором, огромные, как силосные. Мертвых клали штабелями, один ряд на другой. В яму хоронили по 1000 человек. Там есть несколько таких могил, кладбище называется братское».

В архиве мы обнаружили протоколы о захоронениях воинов Красной Армии на территории Матвеево-Курганского района с № 11 по № 32, никем не подписанные, нет и дат их написания (других протоколов, например с № 1 по 10, нет, и архивные работники не смогли их найти в других архивах). Протокол № 26: «Братское кладбище, 98 могил, около 5000 воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ, расположено на юго-восточной окраине хутора Борисовка. Воины, погибшие в бою, привозились с передовой линии фронта и хоронились в феврале-мае 1942 года и в марте-июне 1943 года, среди захороненных пехотинцы, артиллеристы, моряки и кавалеристы 4-го кавалерийского корпуса. Звания и фамилии не установлены...» Это только один из подобных документов, но это одно из самых крупных захоронений. Почему написано, что люди неизвестны, хотя работал штаб, для нас остается загадкой. Но большинство мертвых здесь похоронены именно в 1943 году, хотя и в 1942 году потерь было не меньше. Только «по данным 1947 года, не включая территорию бывшего Анастасиевского района, погибло 20 718 человек»<sup>9</sup>. Это данные только о советских воинах, погибших на Миус-фронте (а мы уже знаем, что учтены не все), а мертвые немцы, румыны, казаки, воевавшие на том же Миус-фронте на стороне немцев, мы думаем, удваивают количество погибших здесь; а еще были и погибшие мирные жители! Поистине обильно полита кровью наша земля. Вот она та цена победы, о которой поется в песне: «...нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!»

Антонина Григорьевна Шелковникова зиму 1942/43 года жила у бабушки в Латонове, болела тифом, очень тяжело пережила эту зиму. В ее записках рассказывается, как она переходила фронт, и мы можем вместе с ней мысленно проделать этот путь. Девочке было 12 лет. «В феврале рано утром раздался гул взрывов в Матвеево Кургане. Бабушка Мавра сказала:

– Иди домой, мамка тебя ждет. Смотри, вон идут меняльщики в город. Иди и ты с ними, но не на Курган, а через Ряженое, там гула не слышно.

Дала бабушка кусок хлеба, и я пошла. Снег подтаял, иду долго. Шлепаю в сапогах, сверху снег, снизу вода. Шла с тетями долго. Вот они повернули в город, я осталась одна в поле, и страшно, и нет. Вдруг сразу обрывается местность. Внизу – долина реки Миус, под горою – село Ряженое. Вдали в Матвеево Кургане огненные взрывы, гул. Видно, шел бой. Иду дальше, спускаюсь к берегу, перехожу мост, прохожу село. Кругом ни души. Страшно-вато, ни звуков, ни взрывов, ни людей. Иду за село к железнодорожной линии. На окраине

<sup>9</sup> Архив. Ф. 9. Оп. 4. Д. 503. Л. 2.

дом. В белых халатах сидят два немца с пулеметом. Прохожу. Они молча поглядывают, но меня не трогают. Остановилась у железной дороги. Куда идти? Решила идти вдоль берега реки и железной дороги по посадке. Иду, в сапогах воды полно. Сяду, вылью воду и иду дальше. Оглядываюсь, нет ли немцев. Слышу звук танка за посадкой. Рокочет машина, остановилась и начала стрелять из пулемета в мою сторону. Вижу, впереди белый снег и веточки бурьяна падают, сбитые пулей. Страха нет ни капельки, а мысль мелькнула такая: вот убьют меня здесь немцы, а мама не узнает, где я. Я присела, посидела минут пять. Слышу, машина уехала обратно. Тишина. Я пошла дальше. Вижу хутор Колесниково, выхожу к нему через железную дорогу. Наши солдаты! Радость охватила. Свои ведь. Иду по дороге. Выскочил один солдат, подбежал ко мне, испугавшись, спрашивает:

– Ты откуда? Ты шпионка, да?

Я молчу. Он просит разрешения у командира отвезти меня в Матвеев Курган в штаб. Тот дает согласие. И мы вдвоем пошли. Ведет в штаб. Проводит мимо нефтебазы и школы. А штаб напротив нее. В Кургане много танков, солдат, везде машины. Шум, разговор. Уже вечереет. Заводят в штаб. Начальник на меня грозно закричал:

– Кто ты и откуда?

Я сказала, что была у бабушки в Латоново и шла домой.

– Что у тебя в мешке?

Я показала кусок хлеба и пуховой платок.

– Ты шпионка, да?

Я заплакала и сказала:

– Вон моя хата. Там мама.

Тогда он смягчил голос, поднес мне карту и спросил:

– Какие хутора проходила? Видела ли бочки с горючим, немцев?

– Да, видела, около хутора за горой. Имя его не знаю. Немцев мало, а бочек много. Он что-то пометил в карте. Сказал мне:

– Спасибо, иди домой.

Мама, увидев меня, от радости закричала:

– Как ты прошла линию фронта и осталась жива?

Рядом с хаткой стоял танк. Мама вышла к танкистам и сказала:

– Уезжайте от дома, а то хата моя от грохота орудий развалится. У меня дети. Танк уехал».

На этом записки обрываются. Но мы ощутили фронтовую обстановку, почувствовали страх маленькой девочки, в одиночку прошедшей линию фронта, подозрительность, может быть и оправданную, военных по отношению к мирным жителям, встречавшим их как освободителей, как своих. Тем обиднее казались людям такие обвинения. Единичные случаи немилосердия по отношению к детям оставили глубокий след в их жизни. Раиса Степановна Горбаткова, у которой загноилась рана на ноге и которая потеряла способность ходить, рассказывает: «Врачи наши тоже были злые. Когда в 1943 году мама пошла в госпиталь, попросила, чтобы меня полечили, к нам пришла врачиха молодая, с накрашенными губами. Тогда все женщины совсем не красились, не до того было. Она посмотрела на ногу и сказала:

– Я шлюхе немецкой помогать не буду!

Она меня никогда не видела и ничего обо мне не знала, за что же она меня так обозвала и в помощи отказала? Мне всего 15 лет было, уже полгода я с кровати не вставала, какой немец на калеку глянет?!»

Мирным жителям, остававшимся здесь, нужно было как-то жить. Петр Егорович Журенко рассказывал нам, что большую часть поселка разминировали мальчишки. Даже был особый азарт: кто ловчее разминировывает противотанковую мину? А новой модификации? Правда, были и жертвы. Так, Сергей Богославский с другом нашли мину нового образца, с

шариками, пытались ее разминировать, обоих убило насмерть. Мины разряжали и для того, чтобы добыть тол, которым растапливали печку. Этим занимались даже старушки. Гибли люди от этого занятия, но мальчишек это не останавливало. Рассказывает Любовь Павловна Моисеенко, по рассказам своего мужа Александра Ивановича: «Ребята собирали патроны, складывали их в большой немецкий котел с тяжелой крышкой, зажигали под ним костер. Сами прятались. Патроны взрывались под тяжелой крышкой и грохотали. Им было весело. Саша уговаривал пойти с ними и старшего брата Леню, который боялся и никуда не ходил. Но тот не соглашался. И тогда Саша принес Лене взрыватель и уговорил потянуть за колечко, чтобы повеселиться. Леня потянул и был тяжело ранен, лишился глаза». Опасность еще долго подстерегала людей.

Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «Когда летом 1943-го прислали солдатиков – совсем молоденьких, таких, как мы, – где-то лет по 17, то мы с сестрой интерес к жизни почувствовали: как же, женихи! Мы рады, сидим с ними на завалинке, семечки щелкаем. Привезли катюшу, поставили на Северной улице. Офицер знакомый сказал, когда она будет стрелять в сторону хутора Дараганы. Мы с сестрой, чтоб видно было, залезли на кучу глины (была во дворе, чтобы печку мазать). И когда катюша выстрелила, мы хорошо все видели, тут начали немцы из пушек садить по тому месту, где катюша стояла, а ее уже там и нет. Мы стоим, смотрим, семечки щелкаем. А солдатики перепугались, на землю попадали лицом вниз, руками головы позакрывали, а один плакал: „Хочу к маме!а Наша мама вышла, стала их обнимать, по головам гладить: „Ах, вы, курчата желторотые! Только от мамки, никогда на фронте не были!“ Мы-то на фронте все время жили, уже не боялись».

В июле 1943 года советские войска попытались прорвать фронт севернее Матвеева Кургана, но попытки эти вновь оказались неудачными. В самом же поселке до генерального наступления таких крупных операций не проводилось.

В первых числах августа Южный и Юго-Западный фронты получили приказ о подготовке нового наступления. Началось освобождение Донбасса. Очень интересно, что мы долгое время считали, что районный центр Матвеев Курган был освобожден 29 августа. Наши власти очень широко организуют торжества в поселке именно в этот день, а 17 февраля лишь последние два-три года как-то отмечается, но очень скромно. Может быть, в этом они и правы. Нельзя, наверное, считать полным освобождением день, когда опять вернулся фронт в поселок, и существование на линии фронта – не полное освобождение, а какое-то частичное. Будем и мы считать, что 29 августа Матвеев Курган перестал быть фронтовым населенным пунктом, что наконец можно было как-то начинать здесь мирную жизнь.

## **СИЛА ДУХА И ВОЛЯ К ЖИЗНИ**

Вспоминает Антонина Алексеевна Ниценко: «Смерть обыденной была. Только друг другу говорили: „Слышала, Галка умерла?“ или „Знаешь, Витьку убило“. Долго не горевали, горя и так кругом было столько, что если все время горевать, то и жить не сможешь».

Во что же верили люди, что позволяло им жить? Все говорили о том, что тогда они были милосерднее и открытее друг к другу, что, несмотря на голод, соседи старались помогать другим, присматривали за детьми, делились последней едой, ходили в гости, часто отмечали как могли семейные праздники. Эта поддержка многим спасала жизнь, люди старались помнить добро. Действительно, перед лицом смерти, которая подстерегала на каждом шагу, неважными становились многие неприятности и мелочные счеты, из-за которых часто ссорятся даже близкие люди. «Сколько той жизни осталось, чтобы ссориться?» – слышали мы от наших собеседников. Нам кажется, что эта фраза родом оттуда, из тех военных лет.

Многих поддерживала вера в Бога. Вспоминает Любовь Корнеевна Авдеенко: «Нас с сестрами тетя Аксютя, с которой мы вместе в эвакуации жили, покрестила. Это было уже в

Матвеев Кургане в октябре 1943 года. К бабушке Варе Бондаренко приехал тайно священник, покрестил всех нас у нее дома. Было так много детей, что тесно было стоять. Окна занавесили, чтобы никто посторонний не узнал. Крестные были из тех взрослых, что привели туда своих детей. У Анюты, у меня и у Дуси, которая на базаре торгует, одна крестная мать и один крестный отец. Если бы власти узнали, всем бы несдобровать. Но никто не выдал, Бог не допустил».

Мария Яковлевна Бобкова рассказала нам, как она работала в редакции, как в два часа ночи ходила принимать сводки Совинформбюро. Приемников не было, разрешили иметь только одному специальному человеку, он жил на улице Кирова. Она брала у него сводки, относила в редакцию, а наутро почтальоны разносили их по дворам. Она рассказала, как люди ждали вестей о наших победах, как радовались им. Мы думаем, что это тоже была сила, которая помогала выжить.

## ЧТО ЖЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ?

По Ростовской области специальные комиссии, работавшие в городах и районах области по учету нанесенного ущерба, составили 95,5 тысячи актов о материальном ущербе, причиненном предприятиям местной промышленности, колхозам и отдельным гражданам. Общая сумма убытка составила 20 миллиардов рублей<sup>10</sup>.

В объяснительной записке Матвеево-Курганского военного комиссара к актам причиненного ущерба от 16 апреля 1943 года, составленным в селе Марьевка, сказано: «Разрушены полностью: Ново-Грековка, Ново-Ротовка, Ново-Марьевка, Александрфельд. Разрушены на две трети села: Матвеев Курган, Политотдельское, Больпе-Кирсаново, Ново-Андреианово, Ряженое. В Матвеевом Кургане до оккупации было 1200 домов, осталось 30–40, остальные сожжены и уничтожены». Документ снабжен постскриптомом: «Составленный акт далеко не полностью охватывает все события и убытки, причиненные району, так как одна третья часть района еще находится в немецкой оккупации»<sup>11</sup>.

Люди возвращались в родные места, в Матвеев Курган, после освобождения. Часто им просто негде было жить. Вспоминает Елена Николаевна Белошенко: «Когда немцев прогнали, мы вернулись. В ямах, где спрятали добро, ничего нет. Дома нет, сожгли немцы в 41-м. Выкопали мы, мать и три сестры, землянку, жили в ней до 1950 года». Лидия Кирилловна Чумаченко, 1936 года рождения, рассказывает: «Вернулись мы в поселок на родовую усадьбу на улице Восточной осенью 1943 года. От дома остались стены и часть крыши. Мы отгородили эту часть дома хворостом, завесили тряпьем, поставили там печку, так жили до конца войны».

Мы узнали, какой огромный материальный ущерб был нанесен нашему району. Здесь разрушили почти все. Эти материальные ценности – дома, предприятия, машины и оборудование – позволяли людям нормально жить, пусть и без большого достатка. Теперь же у них была не жизнь, а выживание. Последний документ привлек наше особое внимание: «О сборе семенного материала на посев в 1944 году»<sup>12</sup>. На заседании бюро райкома партии было решено «собрать из своих личных запасов возможное количество семенных материалов яровых культур. На второй день после собрания было сдано в коллективные хозяйства 1293 кг зерна и прочих культур». У голодающих людей, не имеющих возможности выращивать даже огород на линии фронта, собирали зерно для сева. Мы понимаем, что вся страна жила трудно, что, может быть, другого пути не было, но это кажется нам даже какой-то осо-

<sup>10</sup> История Донского края. Ростов-н/Д: Ростовское книжное издательство, 1971. С. 269–270.

<sup>11</sup> Архив. Ф. 1. Д. 2. Л. 38.

<sup>12</sup> Архив. Ф. 66. Оп. 2. Д. 1. Л. 112 (протокол № 18 от 3 декабря 1943 года).

бой жестокостью. Все наши очевидцы вспоминают, что люди пухли от голода, умирали, что питались макухой, корой с яблонь, а по весне – всякой травой, и тем не менее власти смогли собрать столько килограммов зерна, забрать его на сев у голодных людей.

В протоколе № 19 заседания Бюро РК ВКП (б) от 3 декабря 1943 года с повесткой дня: «Отчет о работе отдела кадров» записано: «В районе имеется 99 человек инвалидов войны... 206 детей сирот и полусирот, родители которых погибли».

Далее в отчете сказано, как устроены эти дети: «В детские дома – 40 человек, в специальные ремесленные училища – 34 человека, в военную школу связи – 10 человек. Остальные дети оформлены в обычные детские дома»<sup>13</sup>. Нам кажется, что мы и сегодня платим по счетам той войны, за победу, которая «одна на всех».

## КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что нам дала эта работа? Мы поняли важность нашего труда: если не узнаем о лишениях людей в годы войны, если забудем о могилах под ногами, о жизнях, оборванных войной, то не узнаем и цены всего, достигнутого за годы, прошедшие после ее окончания.

Мы почувствовали себя исследователями: открытие нового, неизвестного, того, что власти раньше старались скрыть, принесло нам уверенность в своих силах. Мы поняли: правда, пусть горькая и трагичная, важнее каких-то соображений личной выгоды и других, которые кому-то кажутся более предпочтительными.

Мы стали больше ценить победу, тех людей, в том числе и детей, которые ее выстрадали и не сломались.

Мы узнали о могилах под нашим поселком, в буквальном смысле слова у нас под ногами, задумались над проблемой их перезахоронения. Хотя мы осознаем, что во многих случаях это, наверное, невозможно. Также нас потрясло количество погибших здесь людей, солдат, мирных жителей, немцев, румын, казаков и других.

Мы столкнулись с тем, что в нашем поселке очень немного людей имеют медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Это связано с тем, что власти не доверяли людям, которые были в оккупации. Но эти люди нуждаются в защите своих прав. Мы считаем, что детям войны надо дать льготы, не только тем, кто родился до 1931 года, но и другим, более младшим, особенно жителям фронтовой полосы. Эта мелочность государства по отношению к людям, много страдавшим, удручает, особенно когда мы слышим об успехах в экономике и бюджете с профицитом.

Мы хотели дать на этих страницах слово людям, которых никто никогда не спрашивал, как они жили, чьего незаметного подвига и жизненной стойкости не ценили ни власти, ни даже порой их дети. А ведь они были тоже фронтовиками, пусть не внесенными ни в какие списки. 60-летие Победы – это и их праздник, хотя они не смогут надеть орденов. Они тоже трудились для этой Победы, заплатили за нее ту цену, которую потребовала война. Фактически они заплатили своим детством, своим здоровьем, жизнями своих близких, погибших в то страшное время. Теперь и мы знаем об этом.

---

<sup>13</sup> Там же. Л. 143–144.

## **«Радио „Информбюро“ сообщило, что идут ожесточенные бои на улицах Сталинграда»**

**Ярослав Захарьев, г. Волгоград 11-й класс,  
научный руководитель Н. Е. Архипова**

Человек, о котором я хочу рассказать, – моя родственница, судьба которой тесно связана с героическими и трагическими событиями в истории моего города. Это одна из моих прабабушек – Серафима Федоровна Воронина, старшая сестра моей прабабушки, Ирины Федоровны Ворониной. О судьбе Сима (так звали ее родные) семья узнала лишь через много лет после окончания Великой Отечественной войны – в 1973 году.

Семья Ворониных жила в Царицыне – Сталинграде. Ее глава – Федор Ерофеевич Воронин работал на мартене на металлургическом заводе «Красный Октябрь» с его основания французами в 1898 году. Завод расположен на правом берегу Волги, в семи километрах к северу от центра Царицына. К началу Великой Отечественной войны это был уже один из крупнейших металлургических заводов страны. Семья жила на улице Станичной, между двумя крупными заводами – «Красный Октябрь» и «Баррикады». В годы советской власти все пятеро детей Федора Ерофеевича получили высшее образование, чем родители очень гордились. В семье было четыре инженера и одна учительница русского языка и литературы – Серафима.

По воспоминаниям моей бабушки (Татьяны Петровны Лопатиной), запомнившимся ей из рассказов ее матери (Ирины Федоровны Ворониной), Серафима, старший ребенок в семье, прекрасно училась. Ее в виде исключения приняли в гимназию, после окончания которой она работала учительницей начальных классов. Позже Серафима поступила на заочное отделение Сталинградского педагогического института, диплом учителя она получила 25 июня 1941 года.

Когда фронт приблизился к Сталинграду, Серафима ушла из школы и поступила на завод «Баррикады», считая, что так она поможет защитить свой город. К началу кровопролитных боев на улицах города ей пришлось остаться с родителями, которые не могли эвакуироваться из-за ранения Федора Ерофеевича в ноги во время обстрела завода. После освобождения Сталинграда оставшиеся в живых соседи рассказали, что Сима была смертельно ранена и умерла, а о судьбе родителей никто ничего не мог сказать, их считали пропавшими без вести.

В 1973 году газета «Волгоградская правда» напечатала заметку, в которой сообщала, что в Волгоградский музей «Обороны Царицына и Сталинграда» поступил дневник неизвестной сталинградки. Его прислал бывший офицер, а после войны – учитель истории Я. И. Бридихин, который подобрал тетрадку, исписанную карандашом, освобождая в феврале 1943 года улицу Станичную. Он пронес ее через всю войну. Выйдя на пенсию, он решил передать эту тетрадь музею.

Тетрадь представляет собой дневник, где описываются страшные дни Сталинградской битвы в сентябре-октябре 1942 года. Запись заканчивается 25 октября 1942 года. На страницах тетради упоминаются фамилии и имена родственников, соседей, знакомых, по которым музей установил автора дневника. К сестрам Ирине Федоровне и Евгении Федоровне посыпались звонки: бывшие соседи, знакомые, да и сами сестры, сразу узнали сестру. Дневник сейчас хранится в музее «Сталинградская панорама», он является неопровержимым свидетельством страданий простых людей, оставшихся в пылающем городе.

Из «Хроники огненных дней. 17 июля 1942-го – 2 февраля 1943 года»<sup>14</sup>: «12 июля, воскресенье. 6-я полевая армия под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса, выйдя к большой излучине Дона, вторглась в пределы Сталинградской области». 17 июля – официальная дата начала Сталинградской битвы.

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «19 августа Паулюс отдал приказ о наступлении на Сталинград. На всех без исключения улицах, во дворах, в городских садах и парках, у трамвайных остановок, на территории предприятий – всюду рыли земляные щели, сооружали блиндажи. К началу августа 1942 года в Сталинграде было вырыто 174 тысячи погонных метров щелей-укрытий, в них могли укрыться не менее 350 тысяч человек»<sup>15</sup>.

Рассказывает моя бабушка Татьяна Петровна Лопатина (Алексеева) (65 лет): «Со слов мамы, Ирины Федоровны Ворониной, я знаю, что, когда фронт приблизился к Сталинграду, все население сооружало блиндажи, их называли „щели“. Соорудили и в нашем дворе такую щель. Отец и дядя были хорошими инженерами, они так укрепили щель, что разрушить ее могло только прямое попадание бомбы. В этой щели спасались при всех бомбежках члены нашей семьи и соседи. После освобождения Сталинграда родственники нашли ее засыпанной, откапывать боялись, так как везде было много воронок, боялись неразорвавшихся снарядов».

Из «Хроники огненных дней»: «23 августа, воскресенье. Выполняя приказ Гитлера, фашисты подвергли Сталинград массовой бомбардировке. В течение дня было произведено две тысячи самолето-вылетов. Город был разрушен, десятки тысяч жителей ранены и погибли».

Вспоминает моя бабушка Татьяна Петровна: «Мама много раз рассказывала мне о страшных днях августа-сентября 1942 года. Мне в то время было три года четыре месяца. Вот что я помню из этих рассказов. Когда немцы стали продвигаться к Сталинграду, все заводы перешли на особый режим работы. Рабочие и служащие сутками не выходили с завода, даже женщины, имеющие маленьких детей. 23 августа маму отпустили на несколько часов домой. Только вышли из проходной завода, началась бомбежка. Она с подружкой расцеловалась на прощанье и упала под какие-то кусты. Вокруг творилось нечто страшное, ужас охватывал от мысли о том, что с ребенком и родителями. Как только появилась передышка, бегом помчалась домой. Родные были в щели, я (Татьяна) завалена подушками, только начинают их снимать, я начинала плакать и кричать: „Закройте ушки, мне страшно!“ Мама убедилась, что все живы и назад – на завод.

Эвакуационный листок ей выдали 12 сентября. Прибежала домой, одела почему-то все самое нарядное – шелковое платье, летнее пальто, модельные туфли, в сумку положила дипломы – свой и мужа, Сима собрала кое-какие вещи в небольшой чемодан. И так с ребенком на руках и чемоданом мама пошла на берег Волги. Только спустилась, началась бомбежка. Вокруг много женщин с детьми, военных. На берегу лежали трубы большого диаметра, не успели выполнить какие-то работы. Кто смог – залезли в эти трубы. Остались живы. Выползли на воздух, уже почти темно. Последние лодки с военными отчаливают от берега, никого из гражданских с собой не берут. Женщины плачут, умоляют. Вдруг один военный сказал: „Возьмем вот эту женщину (маму), у нее самый маленький ребенок, но без вещей“. Мама бросила чемодан, села со мной в лодку, и мы поплыли. Когда доплыли до середины Волги, стало совсем темно. Вдруг – гул самолетов, появились осветительные ракеты, стало светло, почти как днем. Самолеты летели так низко, что мама хорошо видела летчиков. Застрочили пулеметы. Солдаты стали прыгать в воду, лодка перевернулась, и мама со мной оказалась в воде. Я сразу пошла ко дну, мама нырнула, схватила меня и попыталась

<sup>14</sup> Хроника огненных дней. 17 июля 1942-го – 2 февраля 1943 года. Волгоград, 1993.

<sup>15</sup> Чуянов А.С. На стремнине века: Записки секретаря обкома. М.: Политиздат, 1976.

плыть. Сделала несколько гребков и почувствовала, что тонет. Но тут нащупала ногами песчаное дно (на Волге часто бывают перекаты дна), стала идти по дну и вышла на небольшую песчаную косу. Самолеты продолжали стрелять, она закрыла меня своим телом и так лежала, пока фашисты не улетели. По Волге продолжали плыть люди, кто на чем: лодки, плоты, бревна. Все стонало, кричало, звало на помощь. Какая-то лодка взяла и нас. Так мы оказались на левом берегу. Обстрелы продолжались до утра. Всех, кто добрался до Заволжья, собирали в оврагах до утра. Мама со слезами рассказывала, как я молилась, меня научила бабушка молитве „Живые помощи“, часть молитвы я забыла и очень просила, чтобы мама подсказала. Но мама не знала ни одной молитвы. Так мы с ней и шептались: „Живые помощи, живые помощи...“ За Волгой нас нашел отец, и мы уехали с заводом на Урал.

«Дневник сталинградки» начинается с 10 сентября 1942 года.

Из дневника Серафимы Ворониной: «10 сентября 1942 года. Четверг. Сегодня уже 19 дней, как мы сидим в окопе. Второго сентября опять сильно бомбили наш район. Сбросили бомбу в тонну в проулке у Мизина дома, захватила воронка несколько щелей, и погибло много людей. Дома вокруг разнесло все в щепки, и много домов так растрепало, что жить в них уже невозможно. Так было страшно, так страшно, что описать невозможно.

В магазины и рядом стоящий дом были сброшены зажигательные бомбы, и поднялся пожар. К вечеру поднялся ветер, так стало страшно: горят магазины, дом. Мужики сбежали, пожарники приехали, стали растаскивать горящий дом, затушили.

Мы со страху все ушли ночевать в яр, в нем Вася с Сергеем Ивановичем вырыли щель, а отца перенесли в щель во дворе.

Листовки немец бросает каждый день, но мне ни одной не приходилось читать. А разговоры идут разные про написанное: воззвание к гражданам, что жители пусть ничего не боятся, будут работать, как работали, на своих местах. Не знаю, что будет с нами?

А дни стоят теплые, солнечные, ясные. Волга прекрасная, тихая, светлая, как зеркало.

Фронт находится недалеко, в Северном городке, на Мамаевом кургане и на Тракторном, за Мечеткой».

Северный городок – до сих пор существующая часть жилого поселка у завода «Красный Октябрь», примерно в 1,5 км северо-западнее бывшей улицы Станичной; Мамаев курган (высота, господствующая над городом, 102,0) примерно в 3 км на юго-запад от улицы Станичной; Тракторный завод (СТЗ) – в 10 км северо-восточнее улицы Станичной. Мечетка – речка чуть севернее СТЗ. На восток от Станичной, примерно в 500 м, – река Волга.

Из «Хроники огненных дней»: «13 сентября, воскресенье. Официальная дата начала уличных боев. Гитлеровская армия начала штурм Сталинграда. К исходу дня враг продвинулся на севере к окраинам поселков завода „Баррикады“ и „Красный Октябрь“. Разрушены основные цеха заводов. Начались бои в самом Сталинграде.

14 сентября, понедельник. Один из самых тяжелых дней эпопеи Сталинградской битвы. Противник бросил на город семь своих лучших дивизий, 500 танков, несколько сот самолетов, более тысячи орудий. Ценой больших потерь гитлеровцы овладели господствующей над Сталинградом высотой 102,0 – Мамаевым курганом, вокзалом Волгоград-1, провали оборону на стыке 62-й и 64-й армий и вышли к Волге.

15 сентября, вторник. Борьба за город велась непрерывно, днем и ночью. Теперь она развертывалась на улицах и площадях Сталинграда.

16 сентября, среда. Под прикрытием передового отряда 13-я Гвардейская стрелковая дивизия за две ночи (с 14-го на 15-е и с 15-го на 16-е) переправилась в Сталинград и неожиданно для фашистов ударила по врагу, после яростного боя отбросила противника из района центральной переправы, очистила от него многие улицы и кварталы, гвардейцы вышли на железную дорогу, захватили вокзал и овладели Мамаевым курганом. Борьба за эту высоту продолжалась с невероятным ожесточением до конца января 1943 года.

17 сентября, четверг. Основной удар противника приняла на себя 13-я Гвардейская стрелковая дивизия. В дивизиях осталось по 500-1000 человек. Резервов нет. Утром командующий 62-й армией В. И. Чуйков доложил Военному совету фронта, что части истекают кровью, резервов нет, тогда как противник все время вводит в бой свежие войска. К вечеру из резервов Ставки прибыли хорошо укомплектованные стрелковые и танковые части. На предприятиях Сталинграда ухудшилось положение с продовольствием, на СТЗ его осталось всего на пять дней. СТЗ, не имея возможности выпуска новых танков, организовал особый ремонтно-восстановительный батальон, взялся за ремонт танков для фронта».

Из «Дневника»: «17 сентября 1942 года. Четверг. С 13 сентября, с воскресенья, идут сильные бои. Со стороны немцев летят мины, и с нашей стороны бухают тяжелые орудия, бьют из „Катюш“. С самого воскресенья пять дней бомбят по-страшному. По ночам затишье, но спим тревожно, самолеты летают всю ночь. Самолет-разведчик вешает на парашютах фонари и освещает все пространство. Делается так светло, как днем. Разведчик все высматривает, аднемуже начинается бомбежка. Мы с мамой и знакомыми живем в балке, Вася вырыл там щель. Пять дней не вылезаем из этого убежища. Отец находится в щели дома, с ним знакомый – Сергей Иванович.

Из всех дней бомбежки самый страшный был вчера – 16 сентября. Какой был вчера ужас, какой ужас! Бомбил с восьми часов утра до восьми часов вечера, и все бомбил наш район, так как недалеко от нашей балки находится рабочий сад, а в нем стоят войска, машины. По саду и сажил он. Вокруг находятся индивидуальные домики с садиками, тут же и наш дом. Вчера попала бомба в сад к Кузовым и упала у кухни, убило хозяина дома Илью Ивановича и двух красноармейцев. Илья Иванович бежал в щель, и по дороге его убило. Екатерина Александровна, его жена, сильно плакала. Вчера его схоронили в саду, в воронке упавшей бомбы. Боже мой, какой был ужас! Останемся ли мы живы? Если останемся, то постареем лет на 20.

К вечеру затихло, поужинали с мамой и понесли папе щей домой. Поднялась в гору, ночь была лунная, кроме того, по небу висели на парашютах фонари, было светло, как днем. Вдруг раздались выстрелы из ружей, и фонари потухли, их сбил снайпер. В районе центра города было большое зарево. Два дня горели нефтяные баки. Большое пламя было и по направлению к Федоровскому саду, там большой поселок, горело и там. Все разрушено, города не существует, одни развалины остались. Фронт в городе.

Приказ Сталина – не отступать и не сдавать Сталинград, а наши войска уже на Северном городке, на улицах поселка, на стадионе, в заводах. Немцы бросают листовки с призывом к красноармейцам, командирам, комиссарам сдаваться, им ничего не будет. Приказ Сталина – не отступать!

14 сентября информбюро сообщило о сдаче Новороссийска, как-то там наши сватья, живы ли? Кончаю писать, начинается стрельба. Закутываемся в подушки, одеяла и лежим ни живы ни мертвы.

Дни теплые, солнечные».

Из «Хроники огненных дней»: «19 сентября, суббота. Противник к исходу дня потеснил некоторые части центра 62-й армии. Авиация бомбит район завода „Красный Октябрь“, центр города, Бекетовку».

Из «Дневника»: «19 сентября 1942 года. Суббота. 12 часов дня. Вчера было тихо весь день. Мы с мамой из балки ушли домой в свою щель. Встала сегодня поздно, в девять часов. Собралась идти за водой. Мама не пускала, но я пошла. Вода в кранах на „Баррикадах“. Набрала воды, вдруг зашумели самолеты, я побежала бегом с ведрами, забежала в барак, в нем было две женщины, девочка и два красноармейца. Началась бомбежка, я прижалась в коридоре барака к углу, девочка легла на пол, женщины побежали по бараку, красноар-

мейцы легли на пол. Штукатурка сыплется, грохот. Такой страх я пережила, что описать невозможно.

Когда ночью затихло, я схватила ведра с водой и бросилась домой. Добежала до своей улицы – дом Фоминых расщеплен, в него попала бомба. Заворачиваю за угол, и о ужас! Наш дом весь расщеплен, крыши нет, ставни сорвало, внутри дома штукатурка упала, балки попадали, шкафы расщеплены, стекла у горки выпали. Вошла в дом и вышла на улицу. Оказалось, что бомба упала у окон дома, в том месте, где посажена сирень. Собрали кое-какие доски с улицы во двор. Сосед помог забить забор, забили окна. Мама меня все уговаривает идти в балку к знакомым, но я никуда не хочу идти, будь что будет.

Вчера приходил молоденький красноармеец, говорил, что фронт находится в разных местах. Приказа отступить от Сталинграда нет, из-за Волги перебрасывают новое подкрепление. Много войск стоит на Матросской улице, на Большой Франции, на Малой Франции.

Дни стоят теплые, солнечные, как летние».

Завод «Красный Октябрь» был основан французами в 1898 году и назывался «Французский завод». Жилой поселок этого завода назывался «Большая Франция» (в нем жили инженерно-технические работники) и «Малая Франция» (в нем жили рабочие). Эти названия сохранялись несколько лет и после войны. В настоящее время он переименован в поселок «Металлургов».

Из «Дневника»: «21 сентября 1942 года. Понедельник. Десять часов утра. Сегодня праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Пришла Рита со своей девочкой, просят к нам в щель, так как пещера в балке дала трещину, а соседнюю пещеру завалило, упала большая бомба. Рита, ее сестра Зоя и Галочка перешли к нам. У соседей Коротковых во дворе упала бомба и ранила их сына Володю. Бомбы упали во двор к Пахомовым, Левкиным. Приходили соседи Мокровы, говорят, что бомбят наш район из-за „зелени“, так как в ней прячутся „Катюши“, минометы, машины с боеприпасами. Что-то еще будет с нами дальше? Хорошо, что Женя с крестной уехали и Ира тоже. Останемся ли живы?»

Вчера двое военных заходили напиться, мы спросили: „Скоро ли конец?“ Ответили, что сами не знают, ни у одного города так долго не стояли, как у Сталинграда. У каждого города стояли дней 5–6, а у Сталинграда стоят уже 30 дней. „Как у Севастополя?“ – спросил а я. „Да, как у Севастополя, у него стояли 40 дней“, – ответили.

Сегодня уже 30 дней со дня первой бомбежки. 30 дней, как мы не вылезаем из щели. Что-то будет с нами?»

Из «Хроники огненных лет»: «С 13-го по 26 сентября немецко-фашистские войска потеснили 62-ю армию, ворвались в город, захватили значительную часть высот, в центре вышли к Волге, но овладеть Сталинградом полностью им не удалось. В Сталинграде сложилось тяжелое положение с продовольствием. Приняты особые меры по снабжению продуктами питания бойцов МПВО, рабочих заводских формирований и населения города. Лондонское радио передавало: „Наши симпатии к русскому народу растут с каждым днем. Нам хочется сражаться с такой же сумасшедшей энергией, с которой наши союзники ведут бои на улицах Сталинграда“».

Из «Дневника»: «26 сентября 1942 года, суббота. Одиннадцать часов утра. Ночью было что-то невероятное. Самолеты летали всю ночь, началась бомбежка. В три часа ночи стало слышно рубку деревьев во дворе. Оказывается, пришло много наших войск, разместились во дворах, стали рыть себе щели, и деревья срубили для прикрытия. Во дворе у нас было много брусьев для дров, их все растаскали для прикрытия. Нуда ничего не жалко. Утром спросили пожилого бойца: „Как нам быть? Уезжать или оставаться? Отгонят ли немца?“ Он сказал мне, что уезжать не стоит, за Волгой очень плохо, много народа. Немца отгонят скоро, пришло подкрепление с Дальнего Востока. Дня два-три и его отгонят. В городе немца нет и не было, несколько десятков десантников. Сейчас из города десант выбили.

Сегодняшний разговор с военным вселил в меня уверенность, что Сталинград не будет взят немцами, их отгонят. Полон двор военных, а на стадионе стоят дальнобойные орудия и минометы. Бухают всю ночь и весь день, вся щель дрожит. Словом, мы живем на фронте уже 35 дней.

Вчера ходила на „Баррикады“ за эвакуационным листком, на всякий случай не мешает его иметь, может быть, придется все бросить и бежать в чем есть. Как не хочется ехать, да и вещи жалко бросить, с таким трудом все это наживалось.

Не знаю, где наши: Женья с крестной и Игорьком, Ира с Петей и Танечкой, Вася. Где теперь знакомые и родные: Захаровы, Маруся и Нюра Несытовы, Матрена Васильевна, Вера с девочками, Горшенины?»

Из «Хроники огненных дней»: «29 сентября, вторник. Обстановка в Сталинграде усложняется. Противник вышел в район СТЗ и начал мощное наступление на правое крыло 62-й армии. Сталинградский тракторный завод в эти дни стал основной ремонтной базой танков, доставляемых прямо с поля боя. Оккупирован немецко-фашистскими войсками Краснооктябрьский район Сталинграда».

Из «Дневника»: «29 сентября 1942 года, вторник. Девять часов утра. Третий день идет бомбежка, не вылезает из щели. За водой ходим на Волгу по вечерам, так как к вечеру немного затихает. В воскресенье была такая сильная бомбежка, что я решила уехать. Но Оля Жабина стала уговаривать, что ехать никуда не стоит, что переживать везде придется, а потому надо переживать в одном месте. В ней много оптимизма, с ней легче переживать страх».

В воскресенье убило шесть лошадей, и жители стали растаскивать их на еду. И мы с Олей пошли через стадион и насад. Весь насад разбили, летний театр сгорел, деревья выкорчеваны. Несколько раз нас останавливал патруль в саду и военные. Мы объяснили, что ищем убитых лошадей на мясо. Удивительно, но нас не задержали, сказали, что идти надо в садик около Сталинской школы (она уже сгорела). Пошли туда. Лошади были уже растасканы, только у одной остался передок. Оля стала рубить, а я держать, но у нас ничего не получалось. Подошла Клавдия Тараханкина, отрубила нам и себе переднюю ногу. Свалили все в зембель и пошли назад. Но патруль нас не пропустил, пришлось обходить улицей ниже. Мать уже беспокоилась, решила, что нас забрали. На другой день ели борщ и пирожки с кониной. Оказалось довольно вкусно.

События на фронте плохие. Вчера прибежал молоденький красноармеец с Мамаева кургана, рассказывает, что в городе сидят автоматчики в разрушенных домах и строчат без перерыва, а на берегу находятся наши войска.

Бомбит все время, а в перерыве между бомбежкой садит минами. Вчера сгорел еще один мансардный дом, так было страшно, что мы с Олей и за водой не пошли. Сегодня уже 39 дней, как мы сидим в окопах, что-то будет с нами дальше?

Вчерашний красноармеец рассказал, что на днях наш самолет бомбил по своим. Еще рассказывали, что из-за Волги „Катюши“ били по Мамаеву кургану и много уложили своих. Что-то делается невероятное. Из всех разговоров только вчерашний красноармеец сказал правду, что положение на фронте плохое, остальные только успокаивают, что отгоним немца.

Немец идет упорно и главным образом берет воздухом. На нашем поселке тоже есть немецкие автоматчики. Слышна пулеметная стрельба. Мы сначала не обращали на нее внимания, но потом бойцы рассказали, что это стреляют немецкие автоматчики и подают самолетам сигнал, где бомбить.

Сегодня я шла к Марусе, и около дома Роговых лежит убитый красноармеец. Я от испуга шарахнулась в сторону. Бедный, бедный человек, сложил свою голову, где-нибудь у него есть семья.

Маруся вышла куда-то. Я сижу и записываю эти слова, может, кто-нибудь прочитает и узнает, какие страхи мы пережили и переживаем.

Вот сейчас летит самолет, сердце замирает, сирена самолета приостанавливает работу всех органов тела, все холодеет».

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «В светлое время суток над Волгой беспрерывно висят бомбардировщики, перед причалами то и дело поднимаются косматые столбы воды от взрывов. „Мессеры“ гоняются даже за одиночными лодками, остервенело поливают из пулеметов подходы к причалам. Тяжело смотреть ночью на горящий город с восточного берега. Просто не верится, что там есть люди»<sup>16</sup>.

Из «Хроники огненных дней»: «1 октября – 9 октября. В начале октября борьба за Сталинград возобновляется с нарастающим ожесточением. Гитлеровские войска усиливают натиск в центре города. Одновременно авиация и артиллерия бьют по переправам, уничтожая паромы и баржи. Противник продолжает сильные атаки с высоты 107,5 – в направлении завода „Красный Октябрь“. Верховный Главнокомандующий потребовал от командующего Сталинградским фронтом А. И. Еременко принять все меры и обеспечить оборону Сталинграда, чтобы город ни при каких обстоятельствах не был сдан врагу. 62-я армия отражает массированные атаки противника при мощной поддержке авиации в районе поселка СТЗ. Войска 62-й армии ведут боевые действия против врага на рубеже – рынок, рабочий поселок тракторного завода, заводов „Баррикады“ и „Красный Октябрь“, на северо-восточных склонах Мамаева кургана, в районе вокзала Сталинград-1».

Из «Дневника»: «1 октября 1942 года, четверг. Весь день сильно бомбили. К вечеру затихло, но поднялись пожары. Горело два мансардных дома. Поднялся сильный ветер, и искры тучей неслись по направлению к нашим домам. Был такой ужас, такой был страх.

Добежала до Орешкина дома, я увидела, что у них загорелась крыша, искры летели тучей, и не только искры, но и головешки. Затушить не удалось. Орешкин дом загорелся, от него загорелся наш разрушенный, потом загорелся Жабин дом, Фомин. Образовалось море огня. Такой ужас, такой ужас, меня знобило.

Мы с матерью взяли продукты и побежали в мансардный дом к Анне Моисеевне. Всю ночь не спали. Отца оставили в щели, закрыли дверь плотно железными листами. В три часа ночи пошли проведать двор. Там было море огня. Старик-сосед растаскивал забор, чтобы не загорелся его дом.

Подожли к щели – она цела. Спросили отца, как он себя чувствует. Ответил, что хорошо. У щели начали тлеть брусья у входа, затушили их землей, натаскали валы земли к брусьям, закрыли щель и пошли обратно. Утром вернулись на свое пепелище. Все сгорело, но щель цела, отец жив, надо покопаться, может быть, что-нибудь осталось из вещей. Но копать сейчас нельзя, так как все горячее, надо ждать, когда остынет.

Сейчас сидим в своей щели и решили никуда больше не ходить. Теперь кругом нас образовалось поле с обгорелыми печами. Сидим и думает, что будет с нами?

Красная Армия вся сдвинулась на берег Волги. На стадионе стоят зенитки, тяжелые орудия увезли. Коля настаивает на отъезде за Волгу. Оля против отъезда, так как за Волгой бомбят, и с собой ничего взять не сможем. Останемся ли живы? Говорят, что на поселке немец занял Краснооктябрьский мост.

Сегодня уже 40 дней, как мы сидим в щели. Бомбежка идет каждый день.

2 октября 1942 года, пятница, два часа дня. 41 день, как мы сидим на фронте. Конца не видно, каждый день идут бои. Мины летят каждый день, нельзя высунуть головы из щели. Сегодня утром только собрались завтракать, как начали лететь мины. Вдруг раздался страшный треск, гром, посыпалась земля с потолка щели, ну, думаем, пропали. Прошла минута,

<sup>16</sup> Там же.

прояснилось – живы. Коля, выглянул из щели, оказалось, летела мина, ударилась в акацию, разорвалась, и осколки посыпались во все стороны. Если бы не было акации, мина упала бы на щель, и мы бы погибли. А мама каждый год настаивала срубить эту акацию, но я была против.

Утром ходили с Олей за водой на Волгу и вчера ходили. Самолеты летают, пули визжат, а за водой идти нужно, без воды не проживешь. Один день мы не ходили за водой и были целый день не пивши, невозможно было вылезть.

Шесть часов вечера. Вот уже вечер, а бомбежка не прекращается. С утра до двух часов летели мины, а сейчас началась бомбежка. Боже мой! Когда все это кончится? Сил уже больше нет никаких. Хорошо, что Женя, Ира и крестная уехали. Женя в Ульяновске, а Ира не знаю где, добралась ли она до Магнитогорска? Не знаю, придется ли нам увидеться, останемся ли в живых?

41 день сидим в щели, грязные, невымытые, уже насекомые стали заводиться в голове и в белье. Все сожжено, все разбито, мы сидим в щели, которая находится в открытом поле, кругом груды угля, обгорелые печи. В подвале у нас все сгорело. Утром мама с Колей копались в подвале, отрыли немного тыквы, она испеклась, сегодня мы ее ели. Нашли один самовар, который растопился. В углу нашли бак, в котором была рожь. Придется еще покопаться, может быть, еще что-нибудь найдем.

3 октября 1942 года, суббота. 4-20 часов. Рано утром ходили за водой с Олей и ее матерью Александрой Федоровной. Только набрали воды, начали лететь мины на Волгу, бежали с водой бегом. Такой ужас мы переживаем, что описать невозможно, и когда конец будет, неизвестно.

Выстрелы немецких автоматчиков слышны по всему поселку. Бои идут ожесточенные, то немцы бомбят и сыпят из минометов, то наши начинают садить из „Катюш“ и тяжелых орудий. Сначала сердце замирало, все отнималось, а теперь все окаменело, сердце уже не болит, будь что будет.

Вовремя не уехали, теперь уехать невозможно, положимся на Бога и на судьбу.

42 дня сегодня, как мы переживает этот ужас. Кругом пожары, все горит. Сейчас бомбит мансардные дома и Баррикадный район. Когда все это кончится? Сил уже нет терпеть, а деваться некуда. Вот опять летят самолеты. Захлопали зенитки.

Александра Федоровна занимается у нас варкой обеда. Ходит целый день по двору, варит у щели, как только летит самолет, Оля кричит ей: „Мама! Скорее в щель!а Но Александра Федоровна не торопится бежать, а спускается в щель, когда самолеты пролетят или сбросят бомбы. Оля начинает ругать ее, а она так спокойно отвечает: „Что, он в меня, что ли, бомбы бросает, нужная ему!“ И смех и грех на нее смотреть, такая она бесстрашная.

Бомбежка не прекращается. Оля всех подбадривает. Коля все время говорит, что надо уехать, а куда ехать, когда бомбежка идет целыми днями и мины летят так, что из щели вылезти нельзя.

Погода стоит чудная. Теплые летние дни и вечера.

4 октября 1942 года, воскресенье. Девять утра. 43 дня, как идут ожесточенные бои в городе Сталинграде и рабочих поселках. Сегодняшняя ночь была очень напряженная и жуткая. Накануне вечером ходили за водой на Волгу. До Волги дошли хорошо, а обратно шли под пулями. Был такой страх, ноги отнимались, еле дошли до дома.

А вечер был такой дивный, теплый. Волга красивая и тихая. Такая чудесная стоит погода. Дни жаркие, солнечные. Вечера лунные, тихие, только бы гулять да отдышаться, а мы не вылезаем из щели вот уже полтора месяца, и не видно конца.

Думали, что утром встанем и будет немец, но утром все было по-старому: зенитки стреляют в самолеты, начали бухать тяжелые орудия. С утра началась бомбежка.

В три часа ночи в напряженной тишине раздались звуки радио. Коля вылез на приступки слушать, потом Оля, потом я. Передавали сначала на немецком языке, потом на русском. После передачи раздались звуки музыки, чудная была музыка, по-видимому, передавало немецкое радио. Коля рассказал, что сообщили что-то о Воронеже, он не расслышал.

Пришел один боец за водой, принес полведра густого пшеничного супа, спросили его: „Далеко ли фронт?“ Ответил, что отогнали немца, а сам в глаза не смотрит. Словом, положение плохое.

Коля прочитал сообщение «Информбюро» от 28 сентября, в котором сообщается, что идут бои в районе Сталинграда. Расплывчатое сообщение. На самом деле бои идут во всех рабочих районах и на улицах Сталинграда.

6 октября 1942 года, два часа дня. Боже мой, какое мучение, сегодня 45 дней, как мы находимся в страшных мучениях, когда конец нашим страданиям? Фронт в нашем районе. Отогнали немца или нет, об этом никто из военных толком не говорит.

Случилось несчастье, ранило Александру Федоровну. Она пекла хлеб на соседнем дворе, пролетела мина, разорвалась, и осколком ее ранило. Приглашали военную медицинскую сестру, она осмотрела рану, смазала йодом и установила в ране осколок. Сказала, что осколок может вынуть только врач. Александра Федоровна сильно стонет, говорит, что у нее сильно болит грудь и бок. Потом она кашлянула и мокрота с кровью, страшно испугалась. У нее мнение, что осколок находится в легких. Уговариваем ее, немного соглашается с нами.

Сегодня рылись с Олей в выходе. Все сгорело.

Очень жалко кастрюлю электрическую и медикаменты. Теперь заболит кто-нибудь и лечить нечем. Оля говорит, что не надо ничего жалеть, лишь бы остаться живыми.

Нервы стали сильно напряжены, стала раздражительная, но слез нет, все окаменело.

А дни стоят теплые, солнечные, ясные. По народным приметам будет теплая долгая осень. Как бы хотелось уехать далеко-далеко, в лес, в глушь и отдохнуть от всех переживаний и волнений.

Каждый день ходим за водой под пулями, конца нашим мученьям не видно. Сейчас пока есть хлеб, а вот съедим, тогда не знаю, что будем делать, голодной смертью помирать придется».

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «5 октября противнику удалось овладеть Мамаевым курганом. На отдельных участках городского фронта защитники Сталинграда оттеснены на узкую полосу вдоль Волги. Ожесточенные бои ведутся за каждый метр земли, за каждый дом, улицу, цех, лестничную площадку. Только за 6 октября на боевые порядки 37-й дивизии, обороняющей Тракторный завод, противник сбросил свыше шести тысяч бомб. Кажется, силы защитников заводского района Сталинграда на исходе. Но нет, идут упорные бои перед заводом „Баррикады“, в цехах Тракторного, в поселке „Красный Октябрь“».

Из «Хроники огненных дней»: «14 октября, среда. Оккупированы Тракторозаводской и Баррикадный районы Сталинграда. Тракторный завод помогал танкистам 62-й армии восстанавливать подбитые танки до 14 октября 1942 года.

16 октября, пятница. Армия Паулюса продолжает яростные атаки в районах заводов. Судьба Сталинграда висела на волоске. В 13 часов Ставка Верховного Главнокомандующего приказала командующему Сталинградским фронтом немедленно усилить гарнизон островов на Волге – Зайцевский и Спорный.

17 октября, суббота. Из оперативной директивы командующему войсками Донского фронта: „Противник, прикрываясь прочной обороной с севера между Доном и Волгой, силами четырех-пяти пехотных и до трех танковых дивизий ведет яростные атаки на Сталинград, стремясь овладеть заводскими районами... В течение дня войска 62-й армии вели тяжелые и кровопролитные бои...».

Из «Дневника»: 14 октября 1942 года, среда, 11–20 часов. Сегодня большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. С утра началась бомбежка. Сидим и не вылезаем из щели. Нельзя согреть чаю, пожевали сухого хлеба и сидим. Всю ночь была бомбежка и стрельба, жутко было спать.

Эта война – необыкновенная война, воюют не в степи, а в городах и населенных пунктах. Немцы заняли город, Тракторный завод, наши находятся в Краснооктябрьском районе.

17 октября 1942 года, суббота, девять-десять часов утра. Боже мой, как мы остались живы, одному Богу только известно. Вчера была такая сильная бомбежка, ни одного дня не было такого. Бомбежка началась в десять часов утра и до пяти часов вечера. Щель дрожала, молились все. Боже мой, боже мой, что с нами будет, останемся ли мы живы? А конца нашим мучениям и страданиям не видно.

Сегодня 56 дней находимся в великом страдании, и конца не видно. Я не знаю, как мы остались живы. Это просто чудо.

Немец бомбил без отдыха, сыпал бомбами буквально, так вся улица изрыта воронками. Около Суховатиковых на середине улицы огромная воронка, тонная бомба сброшена.

Военные говорят, чтобы мы выселялись из щели, так как на стадионе находятся орудия и около них не разрешается быть частным лицам. Предлагают переехать за Волгу, там якобы есть машины для перевозки эвакуированных. Но это, конечно, только разговоры, никаких машин за Волгой нет, все переехавшие передвигаются собственными силами. Кроме того, военные говорят, что, если Сталинград будет оставлен, то с оставшимися жителями будет жестокая расправа, вплоть до расстрела, так как их будут считать предателями Родины, желающими перейти на сторону немцев.

Оля против переезда за Волгу, но перейти в другую щель, говорит, надо. Пошли искать заводскую щель, нашли за вышкой около топливного склада, но переходить уже нельзя, началась минометная стрельба, теперь ждать до утра. Грязь, пыль, вши заели».

Из «Хроники огненных дней»: «19 октября, понедельник. Противник продолжает атаки танками и пехотой на всем фронте 62-й армии. Особенно сильные атаки при поддержке массированного огня артиллерии и минометов противник ведет на заводе “Баррикады, силой до двух пехотных дивизий с 50–60 танками».

Из «Дневника»: «19 октября 1942 года, понедельник, десять часов утра. Два дня не писала. Не успела закончить записи, как поднялась сильная бомбежка. Упала бомба у нас во дворе, в щели стало так темно, все посыпалось с треском. Ну, думаем, все кончено, погибли, засыпало. Оказалось, завалило выход, но не сильно, откопались, перешли в щель к Ленгасовым. Сейчас сидим в этой щели уже два дня. По ночам все время сыплет минами. Сегодня весь день идет осенний дождь, грязь невылазная. Целый день бьют из минометов, автоматов, снаряды летят, высунуть нос нельзя.

У нас кончилась вода, где будет брать? На Волгу идти нельзя, опасно, решили поискать воду в соседних погребах.

Проход нашей щели завалило, и дождь льет в проход, образовалась грязь. Никто не хочет ее выгребать, в щели стало холодно. Оля стала такая худая, что страшно смотреть. Коля, ее муж, не двигается с места, да еще ребенок только и знает, что целый день: есть, пить, писать и опять сначала. Это просто пытка. Я такая терпеливая, так люблю детей, но и у меня начинает лопаться терпение.

Мы все истерзались, измучились, вшей развели тучи.

Фронт находится в нашем поселке, Краснооктябрьском. Сейчас одна мысль у всех – остаться живыми, только живыми, ничего не жалко. Как я жалею, что не уехала с девочками. Вещи осталась караулить, да ничего не укараулила, все сгорело. Мы находимся в кольце, Тракторный и Баррикадный районы заняты немцами, на Красном Октябре все сдвинуто к Волге. Отступать нет приказа, и бьются на небольшом клочке земли.

Наш район не узнать – все вспахано, бугры и ямы – страшно смотреть на улицу. Идет бойня, истребление людей. Это безобразная война. Воюют в городах, селах, превращая все в развалины, уничтожают мирное население. А мирного населения погибло много. Погибли наши соседи – все Орешкины: Василий, Николай, двое маленьких детей, а Тамаре перебило обе ноги, осталась жива одна Нина и старик. Жалко бедных погибших людей.

Вот и мы будем ли живы и дождемся ли конца нашим страданиям? Еще хлеб есть, а как съедим, что будем делать? Оля и Коля настаивают, чтобы всем перейти в общественную щель за парашютной вышкой, но нам нельзя бросить отца, а дойти он не сможет, во дворе грязь и идти невозможно. Без нас они не хотят идти».

Из «Хроники огненных дней»: «20 октября, вторник. Войска 62-й армии отбивали атаки врага в районе Спартановки, заводов „Баррикады“ и „Красный Октябрь“. В связи с прибытием в район „Баррикады“ 138-й дивизии И. И. Людникова враг усилил свою ударную группировку четырьмя пехотными и одной танковой дивизией.

21 октября, среда. Противник увеличил налеты авиации до двух тысяч самолето-вылетов в сутки. Под прикрытием авианалетов немецко-фашистские дивизии ведут бои за заводы „Баррикады“ и „Красный Октябрь“. Усилены атаки и бомбовые удары по переправе через Волгу.

22 октября, четверг. Политотдел 62-й армии в своем донесении сообщал, что войска армии в течение дня удерживали занимаемые рубежи. Однако противник постепенно занимал многие улицы и кварталы. Позиции гитлеровских войск настолько приблизились, что воины 62-й армии вынуждены были применить огнеметы, действовавшие на расстоянии 100 метров».

Из воспоминаний секретаря обкома А. С. Чуянова: «Напряжение всех сил защитников заводского района и центра города не спадало до 22 октября. Прижатые к Волге, обескровленные тяжелыми боями, части 62-й армии держались на узкой полоске земли. Казалось, еще одно усилие врага, и эта полоска будет разрублена. А это означало бы, что 62-я армия и остатки населения заводской части города обречены на уничтожение. Военный совет, штаб фронта, обком и горком партии делали все, чтобы этого не случилось».

Из «Дневника»: «22 октября 1942 года, четверг, десять часов утра. Шестьдесят один день (61) нашим страданиям и конца не видно. Сидим в щели Ленгасова три семьи: мы, Жабины, Сергей Иванович с Анной Максимовной. Отец находится в своей щели, и с ним ночует Коля. Фронт то приближается, то отодвигается, вернее, не фронт, мы находимся на фронте, а немца то отодвигают, то он опять придвигается.

Четыре дня идут ожесточенные бои, мины рвались около нашей щели, бомбы тоже рвались, мы сидели в щели и дрожали. Вчера ходили втроем за водой в балку. Мины рвались вправо от нас, бежали с водой бегом.

Сегодня затишье, но это затишье что-то страшит, мины летят, а бомбежки нет. Не дожидаться конца страданиям. Вши заели, прямо сил нет. Вчера один военный сказал Оле, что осталось немного ждать, дней четыре-пять и все решится, немца разобьют. Но что-то плохо верится. Немец сидит на новом базаре. Что-то нас ожидает? Будем ли живы? Боже мой, как все устали и пострадались. Все стали злы, нервны, ругаются. Коля каждый день ругается с Олей, все очень устали.

С водой плохо, едим один раз в день. От воды в балке у всех расстроились желудки, да и привкус горьковатый.

Молюсь Богу, слов нет, сердце как в тисках. Боже мой, боже мой, как тяжело, когда конец нашим страданиям?»

Из «Хроники огненных дней»: «25 октября, воскресенье. Из боевого донесения Военного совета Сталинградского фронта в Ставку Верховного Главнокомандования: Бой в районе заводов „Баррикады“, „Красный Октябрь“ и Купоросное – Зеленая поляна отличается

исключительной интенсивностью и напряжением с обеих сторон... Благодаря исключительному упорству войск 62-й армии, организованному и массированному огню нашей артиллерии, Р (реактивных систем) и авиации, наступавшему противнику в составе пяти дивизий, поддержанному сильной группой авиации, удалось продвинуться между заводами „Баррикады“ и „Красный Октябрь“ всего на 200–300 метров».

Из «Дневника»: «25 октября 1942 года, воскресенье, два часа дня. Три дня продолжается бомбежка, сил нет терпеть. Сидим в щели и не вылезаем, такая тоска, вши заели, ночью спим сидя, так как щель маленькая, а народу много. пытка, сил нет терпеть, конца не видно. Спрашивали одного красноармейца, как положение на фронте? Ответил, что через пять дней все кончится, сегодня пятый день его предсказанием. Сегодня спрашивала другого красноармейца, который ответил, что дело долго продлится. Боже мой, когда кончатся наши страдания? Кругом выжженная степь, так страшно, и каждый день пожары. Поселка Краснооктябрьского не существует, мы сидим в голой степи и каждый день бомбежка. В пятницу был такой страшный бой, думали, что не останемся живыми. Молимся Богу, просим его оставить нас живыми. Вылезаем из щели только вечером, и так страшно, так страшно. Кругом голая степь, изрытая ямами, развалины кругом. Мансардные дома все сожжены и развалились. Так долго тянутся события, 64 дня сегодня нашим страданиям. По-видимому, у немцев мало сил и у наших.

Вчера рано утром был у нас один старик и говорил, что Баррикадный район весь в руках немцев, остались наши войска на небольшой полосе: от железнодорожной линии и до Волги на полосе, на которой мы сидим. Мы сидим на самом огне, и идти некуда, сидим и ждем своей судьбы.

Пишу эти строки, а бомбежка продолжается. Сейчас бомбит завод, что-то горит там.

Верно, у немца сил мало, что он так долго не может нас взять. Наша армия стала в кольцо, осталась небольшая полоска территории, не занятой немцами: Матросская улица с переулками, наша Станичная с ближайшими улицами и у Старого базара частица».

На этом обрывается дневник Серафимы Ворониной.

Из «Хроники огненных дней»: «31 октября, суббота. Воины 39-й и 45-й дивизий 62-й армии при поддержке авиации и артиллерии фронта решительно контратаковали врага и выбили фашистов из крупнейших цехов завода „Красный Октябрь“. Ожесточенные бои продолжались днем и ночью, но немецко-фашистские войска не сумели овладеть территорией всего завода и выйти к Волге.

7 ноября, суббота. Гитлеровские войска пытались прорвать нашу оборону и районе „Глубокая балка“ между заводами „Красный Октябрь“ и „Баррикады“. Бой длился весь день. Фашисты не сумели прорваться к Волге, их атаки были отбиты.

14 ноября, суббота. Глубина обороны войск 62-й армии от берега Волги до переднего края составляла 200–250 метров. С появлением „сала“ на Волге снабжение продовольствием, боеприпасами, перевозки пополнения происходят исключительно напряженно, а с учетом воздействия огня противника и его авиации положение с переправами становится близко к катастрофическому.

19 ноября, четверг. Началась стратегическая контрнаступательная операция под кодовым названием „Уран“ по окружению и разгрому фашистских агрессоров под Сталинградом.

31 января, понедельник. Немцы начинают переговоры о капитуляции. Ультиматум советского командования о немедленном прекращении огня и полной капитуляции южной группы немецких войск принят. Паулюс вместе со штабом пленен.

2 февраля, среда. В подвале механосборочного цеха Тракторного завода пленен штаб северной группы войск противника под командованием генерала Штреккера. Свыше 40 тысяч немецких солдат и офицеров сложили оружие».

Битва на Волге, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась.

«Дневник сталинградки» – еще одно свидетельство войны, ее беспощадности и чудовищной жестокости. В дневнике описывается тяжелое душевное состояние людей, как оптимизм сменяется отчаянием, отчаяние доходит до безразличия к своей судьбе, но прорывается вновь и вновь желание остаться в живых!

Когда я читаю дневник моей прабабушки, то меня поражают строки, когда после описания ужасов бомбежек, страха, убийств, следуют записи о том, как прекрасна Волга, какие чудесные стоят дни. Как хочется тишины, хорошо бы оказаться в лесу, где покой и красота. Это крик о том, как хороша жизнь и как молодой еще женщине хочется жить! Какая несправедливость, что жизнь «висит на волоске», что каждую минуту ждешь смерти. Серафиме в 1942 году было 37 лет. Не уехав вовремя, она позже не могла это сделать, под пулями ходила за водой, переживала все беды, выпавшие на долю оставшихся во фронтовой зоне людей. Она не совершила никакого подвига. И хотя память о ней живет только в сердцах родных, поклониться ей, как и другим простым людям, безвременно ушедшим из жизни во время войны, наш долг.

В Волгограде есть памятник мирным жителям, погибшим в Сталинграде. Он стоит на высоком берегу Волги на Набережной имени 62-й Армии. Это обелиск, на котором изображены силуэты женщин и детей. Сверху обелиск накрыт разорвавшейся бомбой. В памятный для сталинградцев день, 23 августа, к обелиску всегда кладут цветы.

Мы, родственники, не знаем могил Ворониных – Серафимы Федоровны и ее родителей, Федора Ерофеевича и Матрены Сергеевны. Этих могил нет. Как нет могил и тысяч других простых сталинградцев. По памятным дням и в день 25 октября (последняя запись в дневнике) мы, родственники, тоже ходим к обелиску погибшим родным.

## Блики времени

**Екатерина Ефимова, Ленинградская область, г. Тосно  
11-й класс, научный руководитель И. А. Иванова**

Часто ли мы задумываемся о своей семье? Как много мы знаем о своих предках? Помним ли мы хотя бы имена наших прабабушек и прадедушек? Кто-то помнит, а для кого-то это лишняя информация – по крайней мере, они так считают. И таких людей становится все больше и больше. Я думаю, что наши родные достойны любви и внимания, как никто другой. Вот почему я решила написать эту работу. Что из этого получилось, судите сами.

### ДЕТСТВО

Шел 1918 год. Мрачный Петроград. Начало Гражданской войны...

В сотне километров от Петрограда находился небольшой рабочий поселок Дружная Горка. Туда и переехала молодая семья Александра Яковлевича и Евдокии Степановны. Александр Яковлевич был гравером по стеклу, и работа его заключалась в нанесении делений на шкалу термометров, которые, как и все стеклянные изделия, предназначенные для нужд лабораторий, выпускались на Дружногорском стекольном заводе, туда и был переведен из Петрограда Александр Яковлевич. Молодой семье была выделена небольшая квартирка в одноэтажном домике.

Экономика государства пришла в полный упадок. Не было хлеба. Все сбережения, накопленные за долгие годы, уже ничего не значили. Вскоре нищенская зарплата Александра Яковлевича сменилась на карточки, по которым семья получала еще более нищенское обеспечение. Спасали их только врожденная предприимчивость и энтузиазм Евдокии Степановны, благодаря которым она титаническим усилием воли подняла домашнее хозяйство. За несколько месяцев она перекопала маленький участок земли за домом, который достался их семье. На первую, хоть и скудную, зарплату они купили козу, за которой Евдокия Степановна ухаживала и которую доила, затем на кое-как накопленные деньги удалось приобрести корову.

К тому времени молодые ждали прибавления в семействе... Был почти полдень. Евдокия Степановна начала работать, но буквально через несколько минут почувствовала легкое недомогание. Пройдя несколько метров, она вдруг почувствовала резкую боль и, выронив серп, упала на траву. Так, среди колосьев, под открытым небом, родилась Тамара Александровна Гаврилова, героиня этой повести.

Она не очень хорошо помнит детство. «Я очень любила читать. Тогда по всей нашей небольшой школе ходила книга „Консуэло“... Для меня было большой удачей и радостью держать в руках потрепанную книгу, которую уже до меня с трепетом держали десятки ребяческих рук. Я с волнением прислушивалась к каждому незначительному шороху, когда по вечерам, без света (мама была экономной женщиной) вглядывалась в строки самой интересной, как мне тогда казалось, книги на свете...»

В школе у нее было много друзей, но лучшей подругой была Люся Крестель, предки которой, вероятнее всего, были немцами. Да это и неудивительно, ведь завод построил немец Ритенг и привез с собой из Германии рабочих, впоследствии женившихся на русских женщинах. Вообще в поселке было очень много людей с немецкими фамилиями. Например, мастерами на заводе были Шульц и Пецшке. Были там и поляки, и кого только не было...

Евдокия Степановна была очень предприимчивой, и, когда Тамаре Александровне исполнилось 10 лет, они смогли накопить денег, чтобы построить свой дом. Он стоял на небольшом расстоянии от поселка, за рощей.

«Мать наша была очень строгой с нами, но мы все равно ее очень любили. В 19 лет она приехала из Архангельской губернии в Петербург. Наивная деревенская девушка оказалась в огромном столичном городе, готовом поглотить ее толпою прохожих, рабочих и революционеров... Трудно было не потеряться здесь. Вначале она была ученицей у портнихи, а затем ее взяли в горничные в дом знаменитых Коровиных. Ей было лет 26–27, когда она познакомилась с моим отцом. Он тогда только вернулся с Первой мировой. Да, много пришлось испытать ему: он был травлен газами, практически сутками лежал на льду и благодаря всему этому заработал себе туберкулез легких. Я не знаю, где они познакомились, мама не рассказывала нам об этом. Странно для рабочего того времени, но Александр Яковлевич не состоял ни в каких партийных организациях. Евдокия Степановна ходила и слушала выступления Ленина с балкона балерины Кшесинской, недалеко от Марсового поля. Особого восторга от выступления вождя мировой революции она не испытала, да и пошла туда только потому, что „все пошли“. Она была верующей женщиной, и революционные взгляды были ей чужды. Я-то тоже всегда верила в Бога, как и моя мать. В школе никогда не была пионеркой, да нас к этому и не принуждали. А то, что я верующая, так об этом никто и не знал, ведь я, естественно, старалась об этом не говорить». Так что в смысле революционной активности взгляды молодых людей совпадали. Но главное то, что она полюбила его и после двух-трех лет знакомства они поженились.

В 1933 году Тамара Александровна закончила школу. «Спустя некоторое время, в 1933 году, от туберкулеза умер мой отец, Александр Яковлевич. Наша семья потеряла кормильца, и моей маме стало еще тяжелее...» В этом году Тамаре Александровне исполнилось 14 лет. Детство кончилось.

## **НЕМНОГО МИРА, И... «ВОЙНА НАЧАЛАСЬ!»**

В том же, 1933 году Тамара Александровна пошла учиться на лаборанта.

«При заводе находилось что-то вроде ПТУ. Тогда это называлось „фабрично-заводское обучение“, попросту – рабфак. Я там училась и одновременно работала, проходила практику. Затем закончила курсы химиков-лаборантов с отличием и, конечно же, осталась работать на нашем заводе. Я работала в лаборатории, делала анализы стекла, определяла количество примесей и качество изготовленных изделий. Работа у меня была тяжелая, ответственная. Не дай Бог, что-нибудь не так рассчитаешь...»

Жизнь не была легкой. Жили опять-таки только за счет подсобного хозяйства. Смешно было надеяться на зарплату. Однажды мать предложила Тамаре Александровне прогуляться до поселка и зайти к ее подруге попить чайку. Она согласилась. «Когда мы вошли в прихожую к Евдокии (она была тезкой моей матери), я услышала незнакомый мужской голос. Оказалось, что это был новый жилец, снимающий комнату у Евдокии. Он приехал из Гатчины, закончив дорожностроительный техникум, по направлению от начальства в наш поселок. Приехал работать. И жить. Он понравился мне. Стоит ли рассказывать дальше? Через год, в 1938 году, мы расписались в поселке Орлино. Интересно, почему не на нашей Дружной Горке, да? Дело в том, что тогда уже Гурий был председателем сельсовета и не мог расписать сам себя. Да, он уже стал солидным человеком».

Шел 1941 год. Июнь выдался теплым. Одним из таких солнечных воскресных деньков, а именно 22 июня, Тамара Александровна с мужем пошли на небольшой сельский стадион, где обычно происходили все хоть сколько-нибудь значимые события в поселке. Здесь собирались, когда приезжали какие-нибудь артисты или певцы из города, когда проходили импрови-

зированные футбольные матчи между дружногорцами и жителями военного городка, находящегося недалеко от Сиверской. Атмосфера была праздничной, и все располагало к отдыху.

Но всеобщей радости не суждено было длиться долго... Около полудня из громкоговорителя пронеслось над головами страшное сообщение: «От Советского Информбюро...» Это объявление о начале войны прозвучало как приговор. Тамара Александровна и Гурий Федорович пришли домой опустошенные.

Прошли несколько недель ожидания... Ленинград обстреливался. Враг подступал к самому городу. Пришлось эвакуировать местное население. Для того чтобы получить распоряжение начальства, Гурий Федорович отправился в Гатчину. Тамара Александровна захотела узнать о том, что происходит за пределами Дружной Горки, и поэтому поехала вместе с ним. «Повсюду валялись убитые собаки, провода, вывернутые из земли столбы электропередач, битые стекла. Куда ни кинь взгляд, везде царило разрушение», – вспоминает Тамара Александровна. Никто не знал о том, какова должна была быть роль партизанского отряда, состоящего из руководителей сел и деревень Гатчинского района, влиться в который и приказано было Гурию Федоровичу. Он должен был двигаться по направлению к Ленинграду.

Приехав обратно в село, ошарашенная увиденным в Гатчине, под впечатлением приказа об эвакуации, семья Тамары Александровны собрала самое необходимое и вместе с партизанским отрядом покинула Дружную Горку. В любом случае они не могли дольше оставаться в поселке, так как Гурий Федорович был коммунистом, ответственным должностным лицом, и в случае прихода немцев ему и всей его семье грозила неминуемая смерть. Подойдя к Ленинграду, они остановились в местечке Зайцево. Тут и началась очередная бомбежка деревни. Тамара Александровна вместе с сотрудником мужа выбежали из здания и спрятались в каком-то погребе, в то время как все остальные лежали на картофельном поле, по канавам, пытаясь спрятаться от оглушительного звука рвущихся снарядов и своих собственных криков...

«Фашисты наступали нам на пятки, отступать было некуда. Казалось, воздух пропитан запахом крови, я уже давно забыла каково это: ощущать свежий ветерок на коже, не вздрагивать от каждого постороннего звука, не бояться всего, постоянно ожидая удара, дышать обычным воздухом, который не был бы насквозь пропитан гарью и копотью, как, в общем, и все остальное: еда, одежда, все... Дан был приказ заминировать Киевское шоссе, у нас была даже взрывчатка, но... не было минеров, некому было заминировать дорогу. Пришлось отступать, не сделав ничего. Это огорчало нас, но мы были рады главным образом тому, что просто остались в живых...»

Они шли в большой город с надеждой, лелея в себе мечту о том, что здесь не будет страха, грохота разрывающихся снарядов и запаха гари, что будет еда и безопасность.

Ленинград – предел. Дальше идти некуда.

## ЛЕНИНГРАД

Но чем же на самом деле встретил их Ленинград?

Холодными взглядами отчаявшихся людей, развалинами, хмуростью, царившей повсеместно: и на опустевших улицах, и в лицах прохожих.

«Мы сразу же пошли к моей тетке, жившей на улице Рылеева. Нельзя сказать, что она была гостеприимна, однако мы были обеспечены жильем на первое время, а это было уже большим достижением. Через несколько дней мы пошли по знакомым, навестить друзей и родственников. Тетка была хоть и разговорчивой, но в последнее время чувствовалась странная отчужденность, холодность... Мы с мужем давно догадывались, что она боялась того, что мы можем отнять у нее квартиру. Примерно через месяц она посредством какого-то своего знакомого устроила нам жилье практически в пригороде, в Красногвардейском районе».

Гурий Федорович устроился на работу в эвакуогоспиталь. Тамара Александровна же сидела дома в ожидании прихода мужа. Это было мучительное ожидание, и, хотя длилось оно всего лишь неделю, ей казалось, что проходят годы...

Однажды Гурий Федорович пришел с работы и сообщил своей жене, что в госпитале требуются новые работники. Тамара Александровна была тогда готова на любую работу, лишь бы не сидеть дома. На следующий день она пошла в госпиталь...

«Я хорошо помню это здание. Располагавшийся в здании школы госпиталь молчал. Было тихо, я помню, только изредка мне по дороге попадались медсестры с озабоченными лицами. Голые стены, огромный вестибюль... Я прошла в кабинет директора школы: там теперь располагался начальник госпиталя. Невысокий мужчина, с бородкой, в халате спросил у меня имя, фамилию, отчество, в общем, все как полагается. „У нас есть место лаборанта“, – сказал он. На другой день я, оформив соответствующие бумаги, приступила к работе. Женщина, старший лаборант, проинструктировала меня. Теперь я должна была брать кровь и желудочный сок у больных. Это ничуть не испугало меня, хотя я никогда в жизни этого не делала. Скоро я привыкла к своей работе. К запаху спирта, к тупым иглам. Много раненых, проносащихся перед глазами за восьмичасовой рабочий день. Меня могли вызвать в больницу в любое время дня и ночи... Моя мать жила с нами, хотя такого не должно было быть. Ее хотели эвакуировать на „большую землю“, как мы тогда говорили о территориях, не занятых врагом, считая Ленинград маленьким островком. Но я не могла позволить увезти маму. Весь ее организм был истощен тяжелой работой, которая была направлена на то, чтобы поднять нас с сестрой, ведь отец наш ушел из жизни, когда мне было всего 14 лет... Я боялась, что она не доехала бы живой до безопасного места, да даже если и доехала бы... Она ведь уже была старой и больной, ей требовался постоянный уход, а кто бы занимался ею там? Нет, я бы не смогла спокойно жить, если бы позволила увезти ее из Ленинграда. Была, конечно же, еще одна причина. Как только я представляла, какого огромного труда будет стоить найти ее после окончания войны (несмотря ни на что, мы все еще надеялись на победу наших сил), у меня сжималась сердце... Однако не было никакой возможности оставить мать вместе с нами, потому что она была иждивенкой и не работала. Но я собралась с силами и пошла к замполиту, к нашему второму лицу в госпитале, он проводил беседы с ранеными бойцами, грубо говоря, был психологом для больных. Я со слезами на глазах просила этого человека, которого все в нашем госпитале боялись как огня. Просила о невозможном – послушаться приказа начальства и пойти навстречу 22-летней лаборантке, рыдающей и размазывающей по лицу слезы. Сложно было этому строгому человеку, привыкшему к общению с солдатами, к быстрым решениям, видеть напротив себя в маленьком кабинете девушку, способную так вот решиться и прийти к нему просить о... Это был риск – согласиться оставить в городе еще одного человека, хотевшего есть и пить наравне со всеми».

«Помню одну историю. Как-то, когда еще ходил транспорт, мы с мужем возвращались от знакомых. Было уже холодно, и мы очень хотели успеть на трамвай, а он как раз подходил к остановке. Но, к великому нашему сожалению, двери закрылись перед самым нашим носом. Тот факт, что придется стоять на холоде какое-то время, не обрадовал нас... Однако мы не успели огорчиться, потому что началась бомбежка. Проехав два квартала, тот трамвай взорвался».

«Вскоре началась блокада. Теперь бомбили постоянно, однако у нас, на окраине, гораздо меньше, чем в центре, где постоянно стоял грохот разрывающихся снарядов... Появились карточки, по которым мы с мужем получали немного хлеба и крупы. Да и хлеб был странный, совсем не походил на тот, что мы ели до войны. В него добавляли жмыхи, картофельные очистки, да чего только не добавляли... Я знаю очень интересные вещи, которые мне рассказал один человек, рассчитывающий во время блокады ингредиенты, входящие в состав хлеба. Там был даже торф...»

«В госпитале во время тревоги мы должны были перетаскивать раненых в подвал, и хотя случалось это не так часто, но выматывало нас полностью. Началась зима. Холод. Голод. Снег и ветер. Я довольно-таки часто должна была отводить выздоровевших солдат в управление внутренних дел недалеко от Литейного моста. Трудно, очень трудно было идти так далеко, да еще и пешком, ведь не было электричества, не ходил транспорт. Машин нам не выдавали. Помню узенькую тропинку, какие бывают в деревушках, тянущуюся через весь город, а по бокам этой тропинки – трупы. Много-много людей, лежащих без движения. Кто знает: может быть, некоторые из них еще живы? Может, они только что упали, но не в силах подняться самостоятельно? Некому им помочь. Потому что ни у кого нет сил».

«Я иду через Литейный мост... А на мосту трупы. И под мостом трупы. И на льду тоже трупы. Мертвые везде... Особенно запомнилась мне мертвая женщина, лежавшая на льду лицом вверх. Она была красивая, и длинные черные волосы растрепались и примерзли ко льду...»

«Было очень тоскливо жить. Да-да, именно так. Это не было нормальной жизнью. Голод и холод очень сильно подкосили людей. Но не это было самым ужасным. Люди постоянно испытывали страх... Он никогда не покидал их, ни во сне, ни наяву. Преследовал повсюду, на улице, в промерзших домах. Голод можно было вынести, спасеньем от холода служило еле теплящееся пламя от горящих книг и щепок... но страх, страх нельзя было изгнать ничем... Идя по холодным улицам, в темноте, продираясь через сугробы снега, через темные дворы и необъятную ужасающую тишину, нельзя было убежать от себя, от того, что гложет человека изнутри, что постоянно заставляет оглядываться и вздрагивать...»

«Я помню наши фосфорные значки. Сплошная темнотища, никакого света. Светомаскировка по приказу. Ни из одного окна не должен был проникать свет. Иначе штраф. Да...»

«Нам выдали эти значки для того, чтобы мы могли видеть идущих на нас людей, чтобы не столкнуться с кем-нибудь и не упасть...»

«А как ужасно было вечерами в холодном одиноком Ленинграде, где единственными прохожими оставались ветер и вьюга. Люди сидели в домах, грея руки над жиденькими огоньками, экономя тепло и свет. Это бездействие расшатывало нервы, сводило отчаявшихся людей с ума».

«Я спала у стены, закутавшись в одеяло, прижав замерзшие ноги к животу. Мои волосы, красивые и густые, моя гордость, были распущены и свободно лежали на подушке. Когда утром я попыталась встать, то почувствовала, что кто-то крепко держит меня. Оказалось, моя гордость просто-напросто примерзла к стене. Сейчас это может показаться забавным случаем, но мне было совсем не смешно, когда муж большими ножницами отрезал клочок волос, чтобы я могла встать с постели... Да, мои волосы... Красивые, черные, как смоль, кудри изрядно поседели за время войны...»

«Голод в то время сковал всех. «Мои сотрудники рассказывали о том, как в те дни они ели столярный клей, размачивали и грызли кожаные ремни. До этого я не доходила, но приходилось есть лебеду, мокрицу, жмых, которым кормили скотину».

«Как-то даже целых три или четыре дня хлеба не было вообще. Именно тогда погибла основная часть ленинградцев. Люди только пили воду и лежали. Очень многие опухли от голода и едва способны были передвигаться, Гурий Федорович ходил с двумя палками, опираясь на них и только за счет этого не падал».

«Рядом с нашим домом был семиэтажный дом – общежитие для студентов и учащихся ПТУ. Какие ужасные мысли проносились в моей голове, когда я каждый день проходила мимо него и видела в прямом смысле горы трупов, увеличивающиеся с каждым днем, если не с каждым часом».

«На улицах не было людей. Из-за сильного мороза никто не решался выходить на улицу. Поход за водой был равносителен подвигу. Тамара Александровна топила печь дровами, так

как на окраине все еще оставались деревья, но в центре... в центре сжигали все: начиная с мебели и кончая книгами.

Много страшных историй хранит Ленинград. Историй о людях, съедающих кошек и собак. О людях, замерзающих на дорогах и погибающих под артобстрелами и бомбежками. «Моя хорошая подруга из поселка близ Дружной Горки, которая была угнана немцами в Эстонию на поселение вместе с семьей, рассказывала историю своей сестры, жившей в Ленинграде во время блокады. Она жила в коммунальной квартире с двумя соседками. У одной из них была собака. Когда хозяйка собаки ушла куда-то, две оставшиеся в квартире женщины изловили эту собаку и съели... Когда их соседка вернулась, они объяснили исчезновение питомца тем, что животное убежало через неосторожно приоткрытую дверь».

«Есть и еще кое-что пострашнее. У одной женщины был сын, который служил в действующих частях недалеко от города. Он получил разрешение навестить свою мать. Когда он вошел в дом, то удивился странной суетливости и неприветливости матери, старающейся, как ему показалось, поскорее выпроводить его из дому. Он не придавал этому особого значения и подавил в себе эту мысль, ссылаясь внутренне на голод и страх смерти. Он и не знал, что как только мать закрыла за ним дверь, то сразу же бросилась к печи, где в чугунке у нее варилась крыса. Она с огромным трудом поймала эту нежданную в ее пустом доме гостью и сразу же решила сварить ее. Это было огромным счастьем для изголодавшейся женщины...» «Как-то мне нужна была какая-то справка, и я пошла в ЖЭК, к паспортистке. Я заметила в углу мужчину и женщину, разговаривающих с участковым. Странный блеск в их глазах испугал меня. Обычно я не замечала такие мелочи, но сегодня это как-то бросилось мне в глаза. Паспортистка начала выписывать нужный документ, а затем незаметно наклонилась ко мне и шепотом заговорила: „Посмотрите на этих людей, – сказала она, – они съели своих детей, мальчика и девочку. Соседи заметили исчезновение ребят и сообщили в милицию. Теперь вот их привели...“. Это был УЖАС!»

Воина проходила ужасно медленно... Дни тянулись однообразно и так долго, что казалось, конца им не будет никогда. День Тамары Александровны, да и всех рабочих людей, был однообразен и полон страшных, мрачных мыслей. Гурий Федорович и Тамара Александровна просыпались около семи часов утра. Как трудно было снова встать, съесть малюсенький кусочек черного хлеба со странным вкусом и отправляться в темноту холодного утра в госпиталь, через вьюгу и холод, проникающий повсюду. Казалось тогда всем, что мороз господствует везде и нет такого места, где можно было бы согреться. Только когда приходили в госпиталь, то чувствовали приятное тепло, которое, как бы разливаясь по телу, отрезвляло, и Тамара Александровна просыпалась по-настоящему. Затем начиналась работа. Иногда день проходил нормально, без тревог и каких-либо происшествий, но бывало и так, что за весь день нельзя было даже присесть на пару секунд.

После работы она приходила домой. Сидела на холодном стуле и читала газеты, старые журналы, книги. Но свет приходилось экономить, ведь когда не стало электричества и кончился керосин, жир в коптилке берегли, как зеницу ока. Потом съедали еще один кусочек хлеба, запивали его несколькими глотками теплой воды и ложились спать в холодные постели, укрываясь одеялами и еще каким-то тряпьем, которое только могло согреть их исхудавшие тела...

И засыпали. Что страшнее: кошмар сна или ужас жизни?

## «ПРОРВАЛИ БЛОКАДУ!»

### НОВАЯ ЖИЗНЬ

Но мучения 900 дней блокады завершились.

За это время у Гурия Федоровича погибла почти вся семья: брат пропал еще в Гатчине, отец умер от голода. Ни о каких похоронах, конечно, не могло быть и речи. Трупы просто выносили во двор и оставляли лежать до тех пор, пока специальный патруль не увозил их на Пискаревское кладбище в общую братскую могилу. Долго и мучительно длилась эта пытка голодом. Но она закончилась, и госпиталь, в котором работали Тамара Александровна с мужем, эвакуировали...

«В Выборге нас расположили на окраине города. Много тогда ходило историй о том, что финны ходят по городу и вырезают госпиталю. На ночном дежурстве мы все не спали, дрожа от страха и прислушиваясь к каждому постороннему звуку и шороху...» В 1944 году Тамара Александровна родила здоровую девочку. Ни рост, ни вес тогда не измеряли, хорошо было уже то, что роды приняли...

«Я с мужем и матерью переехала в Ленинград. Там нам выдали ордер на комнату в коммунальной квартире в старом доме на улице Жуковского, в центре, так как тот дом у госпиталя, где я работала, предназначался на снос. По сравнению с нашим прошлым местом проживания эта коммунальная квартира показалась нам раем! Потолки пять метров, светло и просторно, да еще центр города...»

Началась новая жизнь. «Дочку я назвала Элеонорой, в честь Элеоноры Рузвельт. Руководствовалась я тогда тем, что они были нашими союзниками в войне, да и имя красивое... Соседей было у меня шесть человек, все люди неплохие. Первое время все еще сохранились карточки, по которым нам выдавали всякие крупы, подсолнечное масло, затем мясо и яйца... Я устроилась на работу на завод Лентеплоприбор комплектовщицей. Платили 300 рублей, нормально. Помню, как приходили к нам на работу профсоюзы, и мы должны были подписать какие-то бумажки, по которым с нас высчитывали часть зарплаты, это называлось „добровольные займы государству“. После войны-то любое существование казалось прекрасным. Мы с матерью и мужем ходили в театры и кино по выходным, тогда фильмы шли по три дня, каждую неделю – новая картина».

Время шло, и Тамаре Александровне хотелось вернуться в родное село, на Дружную Горку. «Моей дочери уже исполнилось два года, и мне хотелось, чтобы ребенок мог дышать свежим воздухом, хотелось покушать своих собственных овощей с грядки, походить в лес за грибами и ягодами. Земля тогда не продавалась, а только выдавалась небольшими участками».

Когда Тамара Александровна приехала на Дружную Горку, то не заметила абсолютно никаких изменений. Все было также, как и до войны: те же старые сосны у въезда в поселок, те же дома рабочих, те же поля близ села, тот же кривенький мост через ручей...

«Участок наш теперь находился у самого въезда в поселок. Мы с мужем очень много трудились для того, чтобы построить дом».

В 1969 году вся семья переехала в новую трехкомнатную квартиру на улице Тельмана в Веселом Поселке. В этом же году у Тамары Александровны родилась внучка Яна. Сколько было радости! Тогда они уже полностью достроили свою дачу на Дружной Горке, где они могли отдыхать на выходных и летом. Яна играла там, а мы занимались огородом. Все было замечательно.

«Казалось бы, все в нашей семье хорошо. Прекрасные сообразительные детишки, удочки хорошая работа (к тому времени она уже работала в зубной поликлинике), зять – золотые руки, всегда все в доме делал сам. Но вот было кое-что... Мой муж Гурий начал увлекаться выпивкой. Вообще до войны он не брал в рот ни капли спиртного, но в Выборге, в нашем госпитале, начал выпивать. Поначалу он выпивал редко, по праздникам, или так, рюмочку перед обедом, но теперь... Теперь это приняло характер патологии. Он стал пить постоянно. Конечно, из-за этого ухудшилось его здоровье, он стал забывчивым. Мой муж умер в 1990 году, когда ему было 77 лет. Это случилось, когда моей правнучке исполнилось три года. Да-да, Яна родила девочку. Мне принесли ее из роддома в феврале 1987 года, был мороз, снег падал огромными хлопьями...»

Вот напротив меня сидит героиня этой истории, Тамара Александровна. Для меня – любимая прабабушка, для других – обычный человек. Сложно даже представить, что «девушка в синем бархатном платье» – это моя бабушка Эля, с которой я обсуждаю свои проблемы и радости Девочка Яна – это моя мама, а я – Катя. Да, та самая Катя, которую принесли в квартиру на улице Тельмана... Поселок Дружная Горка стоит, какираныпе. Все тоже: вековые сосныувъезда, одноэтажные домики рабочих, небольшая роща и холмы, покрытые травой... Это – вечно. И на этом я ставлю точку в моем рассказе.

## **«Когда бой уже кончился...» О владимирских госпиталях, о смерти и бессмертии, о незабытых и забытых навсегда**

**Илья Зыков, г. Владимир 11-й класс,  
научный руководитель В. Г. Белова**

Как-то раз я вместе с ребятами из школы вызвался помочь владимирской организации «Некрополь» в работе по уборке и благоустройству известного многим во Владимире Князь-Владимирского кладбища.

И вот мы приступили к работе. Вырезая шпателем траву между надгробными плитами, я невольно читал: «Хромов В. Н. – рядовой 1891–1941 годы, Плахотник А. Т. 1905–1945 годы» и так далее, сотни и сотни имен. Всего 1501 человек. Я почувствовал, что мое сердце сжалось от тоски, скорби по погибшим. Ведь известно, что за годы войны было убито 27 миллионов человек.

И я задумался... А ведь эта цифра могла быть намного больше, если бы не было таких учреждений, как госпитали, если бы в них не работали такие замечательные люди, как наши врачи, медсестры и многие другие, вложившие огромный труд, душу в то, чтобы помочь, спасти раненых, вытащить с того света солдат с очень тяжелыми ранениями. И мне стало стыдно перед самим собой за то, что я, родившийся и проживший 16 лет во Владимире, не знаю, были ли в моем родном городе госпитали. Сколько их было, где они находились, кто в них работал, кто всячески старался помочь находящимся в них раненым вернуться к нормальной, здоровой жизни? И я поставил перед собой задачу: как можно подробнее узнать обо всем этом.

Я ходил в библиотеки, консультировался со своими учителями истории, читал различные книги, справочную литературу, бывал в гостях у медсестер, работавших во владимирских госпиталях в годы войны, посещал музеи при школах, в которых размещались госпитали. Я обошел практически весь город в поисках зданий, в которых находились госпитали, некоторые даже сфотографировал. Сейчас в них размещены различные государственные и коммерческие организации, клубы и многое другое. В моей голове скопилось очень много информации, мыслей, которыми я хотел бы с кем-нибудь поделиться. И эту исследовательскую работу я решил написать для того, чтобы рассказать все то, что я узнал о Владимире в годы Великой Отечественной войны.

Уже в период Первой мировой войны на территории города Владимира действовали эвакуационные госпитали. Значит, к началу или непосредственно в ходе Великой Отечественной войны должна была сложиться система медицинского обслуживания арены боевых действий. В годы войны в действующей армии различались следующие военные госпитали:

- полевые подвижные (ППГ);
- сортировочно-эвакуационные (СЭГ);
- хирургические полевые подвижные (ХППГ);
- терапевтические полевые подвижные (ТППГ);
- инфекционные полевые подвижные (ИППГ);
- госпитали для лечения легкораненых (ГЛР);
- эвакуационные (ЭГ);
- контрольно-эвакуационные (КЭГ) и др.

Для города Владимира, где не было военных действий, основной задачей было развертывание военных госпиталей. Уже на следующий день после сообщения о нападении Германии на СССР во Владимире начинается этот процесс. Этой работой руководил местный эвакуационный пункт. По мобилизационным планам к приему раненых готовили четыре госпиталя.

О том, какие именно мероприятия пришлось провести в каждом из них, мы можем узнать на примере госпиталя № 1890. Приказ о развертывании этого эвакогоспиталя был издан 23 июня, ему отводилось здание четвертой средней и третьей начальной школ, располагавшихся по улице Луначарского, 13-а, площадью 1200 квадратных метров. По мобилизационному плану госпиталь был рассчитан на 200 коек. До 15 июля был произведен ремонт здания, побелено почти все помещение изнутри, отремонтированы и подготовлены главные помещения госпиталя: операционная и перевязочная, где должна была поддерживаться стерильность, организовано подсобное хозяйство за городом, оборудованы склады вещевого и аптечного, создан санпропускник на 50 человек с поточной системой приема раненых, оборудована суховоздушная камера на 50 комплектов обмундирования, в нижней части здания оборудован пищеблок с раздаточной, моечной и разделочной комнатами. Оборудованы кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, зубоучасток, лаборатория, общежития медсестер и хозкоманды на 50 человек. В бывшем школьном зале был оформлен клуб, являвшийся при необходимости резервом для размещения раненых.

Над госпиталем взял шефство Владимирский химзавод, к концу июля «мощность» была доведена до 500 коек, и 23 июля 1941 года госпиталь приступил к приему раненых. Почти все работники госпиталя находились на военном положении и, ухаживая за ранеными бойцами, жили прямо в госпитале.

Вот как вспоминает об этом времени фельдшер эвакогоспиталя № 1890 Шубина Н. П. «...В 1940 году я окончила фельдшерско-акушерскую школу. Год работала в городской поликлинике. Потом меня направили в э/г № 1890, где я работала фельдшером. В 1943 году, когда немцы были разбиты под Москвой, госпиталь продвинулся к фронту. В госпитале я обслуживала 200 коек с 700 ранеными. Раненых было очень много, и поэтому вместо коек делали нары или иной раз клали на пол солому, покрывали простынями и клали на эти „кровати“ раненых. Я многого не умела делать, поэтому приходилось учиться всему прямо на месте. В дальнейшем приходилось делать все операции: переливать кровь, накладывать гипс, делать уколы.

Всему этому я научилась быстро. Я сама отдавала кровь для раненых. Работа была очень трудная. Приходилось по трое суток не выходить из перевязочной. Бомбежек не было, но зато были частые воздушные тревоги, во время которых приходилось уводить и переносить раненых. А когда во время воздушной тревоги делали операцию, то и не выходили из операционной. Работали мы день и ночь. Спали мало. Ночью принимали раненых, обрабатывали их, а днем выпускали для эвакуации в глубь страны. Тяжелораненых оставляли в госпитале до выздоровления».

Существовал эвакогоспиталь № 1890 чуть более двух лет до 15 октября 1943 года. В 1943 году с продвижением фронта эвакогоспиталь побывал в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. Победу работники госпиталя встретили в Дойчэлаве.

Самоотверженная работа по развертыванию госпиталей и приему первых эшелонов раненых смогла в какой-то мере смягчить катастрофу начального этапа войны. Достаточно вспомнить, что за период с начала войны по конец 1942 года было убито 2,5 миллиона и ранено 5 миллионов человек.

11 октября 1941 года во Владимир прибыл местный эвакуационный пункт – МЭП-113, эвакуированный из Тулы. В нем сосредоточилось все управление госпиталями Владимирского куста. Первоначально МЭП располагался в здании Первой советской больницы,

однако вскоре рядом упала невзорвавшаяся бомба весом в 1000 кг, и, поскольку из-за близости промышленной зоны сотрудники эвакуопункта ожидали продолжения налетов, было принято решение о перебазировании его в западную часть города, где МЭП занял помещение бывшего детского санатория по улице Большая Московская, 20.

Вообще в области существовало четыре эвакуоприемника: Владимирский, Ковровский, Вязниковский, Гусевской, осуществлявших сортировочную работу.

В октябре 1941 —январе 1942 года из западных районов, и в первую очередь из Рязанской области, были перебазированы и развернуты во Владимире девять эвакуогоспиталей, и к концу 1941 года их число в городе достигло двенадцати. В этот период резко возрос поток раненых, особенно во время контрнаступления под Москвой.

За полгода, с начала войны до конца 1941 года, только во Владимире было разгружено 112 вагонов скорой помощи с 53 тысячами раненых; было отправлено в тыл 96 поездов с 37 тысячами раненых. В 1942 году был принят 281 поезд и 86 тысяч раненых и отправлено 138 санитарных поездов с 61 тысячей раненых.

Прием раненых с военно-санитарного поезда производился в прирельсовом эвакуоприемнике в стандартных домиках, где их сортировали по характеру и локализации поражений и распределяли по госпиталям согласно профилю.

Погрузочно-разгрузочная работа производилась на 24-м пути, разгрузка производилась без рампы с земли. Расстояние до госпиталя –1,5–2 километра. Подъездная дорога к 24-му пути совершенно не пригодна для санитарного транспорта. Дорога под железнодорожным мостом была разбита, заливалась водами из канализации, зимой лед наращивался, и проезд для санитарных машин делался невозможным.

Разгрузка производилась примерно тридцатью санитарями с привлечением сандружинников и учащихся. Для перевозки раненых к сортировочному госпиталю было прикреплено шесть санитарных машин, из них пять носилочных и один «люк» на 25 сидячих мест. Также использовался гужевой транспорт; ходячих больных направляют до госпиталя пешком в сопровождении сестры.

Вот как об этом вспоминает бывшая медицинская сестра, которая лично принимала и сопровождала раненых. В то время ей было 17 лет, и весь ужас войны оставил неизгладимые воспоминания. Юлия Николаевна родилась в семье железнодорожника. Перед самой войной она поступила в энергомеханический техникум. Но с началом войны, оставив техникум, Юля пошла на курсы медсестер. Считала, что каждый обязан что-то делать для фронта. Она была самой младшей на курсах. Ей было 17 лет, а рядом учились девушки постарше, женщины до 40 лет. Их учили хирургии, терапии, фармакологии, асептике и антисептике. В мае 1942 года часть девушек сразу отправилась на фронт, остальных распределили по владимирским госпиталям. Сначала Юля попала в госпиталь, который находился в здании больницы на улице имени Фрунзе. Потом ее перевели в другой – № 1888, который находился в здании бывшего клуба имени Молотова.

«...Эшелоны с ранеными шли из-под Москвы, подходили к станции ночью. Состав буквально дымился от крови и дыхания замерзающих людей. Выносят носилки, ставят на землю, на лице лежащего человека такая боль, такая мука. Вот он вздохнул и умер!» Это трудно забыть.

«К вокзалу подъезжали автобусы с двухэтажными нарами, на которые укладывали раненых. Сестры сопровождали их до госпиталей. В автобусах для перевозки носилки с лежащими. Ходячие скорчились в проходах. И опять такая боль, мука и надежда в глазах. Кажется, они сейчас сойдут с ума от боли и бросятся на меня. А я прижалась спиной к дверям и твержу: „Миленькие, родненькие, потерпите, сейчас приедем“». Для молоденькой девушки это было страшным испытанием – столько страданий видеть сразу! В госпитале раненых принимали старшие сестры, врачи. На втором этаже, в «желтом зале», находилась

операционная. Вторая была внизу, под лестницей. Тесно стояли операционные столы, их было много. На столах лежали раненные в ожидании своей очереди. Хирургов тоже было много. Это были и владимирские врачи, и московские. Рядом, около столов, лежали отнятые руки, ноги... Тут же была и перевязочная. Однажды Юля испытала шок, когда ее попросили что-то принести из соседнего здания. Открыв дверь, она попала в темное помещение, споткнулась обо что-то. А потом, когда кто-то открыл дверь с улицы, она увидела, что споткнулась о трупы...

Девушки, окончившие курсы, были прикреплены к палатным сестрам, помогали им. Работали почти непрерывно. После короткого отдыха дома – снова госпиталь. Они видели столько страданий, что воспоминания тех лет не изгладились до сего времени. Особенно запомнился Юлии Николаевне Саша Саенко. «Привезли его тяжело раненного. Видимо, был он высокого роста, потому что кровать оказалась ему коротка, ноги не помещались на постели. Ранение в грудь было смертельным». Юлия Николаевна сидела возле него, пыталась читать сказки, развлечь разговором. А он вдруг попросил: «Очень озябли ноги, принесите мне валенки. Принесите валенки, – повторял он, – мне нужно идти». Юлия Николаевна пыталась укрыть парню ноги потеплее, а он продолжал просить валенки. Она побежала за врачом, но, когда они подошли, парень был уже мертв... Впечатление об этой смерти было настолько сильным, что Юлия Николаевна до сих пор помнит тот осенний теплый вечер в большой палате, где умирающий парень просил принести ему валенки...

Я слушал рассказ Юлии Николаевны, а на ум пришло стихотворение Людмилы Татьяничевой «Дежурная сестра»:

Лицо —  
Почти бескровное.  
Рука —  
В сухом огне.  
– «Среди долины ровныя»  
Ты спой, сестричка, мне.  
А на уколы нудные  
Зря времени не трать...  
Спой песню эту  
Чудную, —  
Ее мне пела мать.  
В военный год  
Под Рузою  
Певала мне ее  
Еще девчонка русая —  
Спасение мое...  
Ты этой песней приголубь  
Меня в последний час.  
Послушать  
Про могучий дуб  
Хочу еще хоть раз...  
.....  
Лицо —  
Совсем бескровное.  
Устало сомкнут рот.  
«Среди долины ровныя»  
Сестра

### Навзрыд поет.

Я прекрасно понимаю, что оно посвящено другой медсестре, та пела, а эта читала сказки, но сколько их по всей стране было рядом с тяжелоранеными бойцами.

В 1943 году Юлия Николаевна вернулась в техникум, позднее окончила Московский машиностроительный институт, была счастлива в браке, имеет прекрасных детей, внуков, но навсегда сохранилась в ее душе память о тех днях, когда на ее руках умирали молодые парни, когда весь воздух вокруг нее был пропитан страданиями. А дочь Юлии Николаевны – врач, и внук будет врачом!

Госпитали отапливались дровами, в заготовке которых оказывали помощь пригородные колхозы, и заботой начальника госпиталя было выбить участок для рубки поближе к городу. Приходилось экономить продукты, тем более что число раненых значительно превышало число коек и резервный запас пайков. Совершенно не хватало перевязочного материала. Бинты стирали, а руководство писало грозные письма в адрес тех, кто, по их мнению, недостаточно пользовался этим приемом. Процент стиранных бинтов достигал 35-ти.

В августе 1943 года МЭП-113 и значительная часть госпиталей передвинулась на запад, ближе к фронту, и к концу войны во Владимире осталась лишь четыре госпиталя, из которых до конца войны просуществовало два.

Судя по «Книге памяти», во время войны во Владимире было 15 госпиталей, а в целом по области – 88. На всех зданиях, где во время войны располагались госпитали, установлены по решению городских властей памятные доски единого образца.

В ходе краеведческих исследований у меня возникло много вопросов. Практически все в один голос утверждают, что раненые поступали в город только поздно ночью, особенно в период боев под Москвой. Почему? Даже с учетом военного времени и загруженности дорог военными эшелонами на дороге от Москвы до Владимира с 1863 года было два полотна, то есть движение было двухсторонним. Время движения паровоза, то есть состава без электрической тяги, могло составлять 5–6 часов. Если загрузка раненых проходила в дневное время, то во Владимир они прибывали к середине дня. Возможно, составы с ранеными двигались только в ночное время, чтобы не попасть под авианалеты противника.

Эта мысль в какой-то степени меня успокаивает. Однако при той тоталитарной системе могла быть и иная установка, что-то вроде нежелания пугать население большим количеством жертв. Сталинское руководство боялось распространения правдивой информации. Получается, что составы с ранеными прибывали к городу в течение дня и стояли на запасных путях в ожидании разгрузки. Для многих солдат и офицеров именно здесь заканчивался последний бой. Тогда это страшно.

Но, попав в госпиталь, раненые оказывались окруженными заботой и вниманием. В госпиталях лечили, жители приносили подарки, щедро делились любовью и сочувствием. Маленький районный город Владимир, каким он был до войны, разместил 18 госпиталей в самое суровое время. Количество поступивших раненых за годы войны в четыре раза превысило число жителей довоенного времени. Это те, кто вылечился и уехал.

Однако на территории города остались 1,5 тысячи умерших солдат. Во время рассказов о них большинство опрошенных отмечают, что хоронили только ночью. Старожилы, которые были детьми, вспоминают, что целые вагоны умерших практически до глубокой ночи стояли на запасных путях. Хоронили их только по ночам. Это косвенно подтверждает и рассказ Юлии Николаевны Силаевой о тамбуре, заполненном умершими бойцами уже в госпитале. Если учесть, что госпиталь № 1888 располагался в нынешнем Доме офицеров, то это самый центр современного города, а тогда самый населенный городской район. По всей вероятности, умерших в госпиталях складывали в специально отведенных помещениях. Очевидцы вспоминали, что умерших советских солдат хоронили в длинных глубоких

рвах. Их старались привозить ночью, на телегах. Сначала скидывали в беспорядке, но потом, видимо, об этом узнало местное население. Щадя чувства женщин, стариков и детей, чьи мужья, сыновья и отцы воевали на фронте, захоронения стали производить более цивилизованно. Однако гробов, торжественных церемоний тогда не было. Это было объяснимо, наверное, в сложных военных условиях. И все равно с этим трудно смириться. Если живые в нашей стране были винтиками, то мертвые и вовсе ненужная головная боль. Действия официальных лиц может оправдать только тот факт, что фронт подошел слишком близко.

Уже вскоре после окончания войны, в 1946 году, было решено отметить место захоронения солдат и офицеров памятником. 15 марта 1946 года была утверждена смета на сооружение памятника и благоустройство территории братских могил в северо-восточной части кладбища. Однако даже на скромный памятник у города не было средств. Предполагалось сделать обелиск деревянным, что удешевляло его сооружение, или передать изготовление одному из владимирских предприятий. Было принято еще несколько решений горисполкома о благоустройстве братского воинского кладбища. Известно, что в этом принимали участие комсомольцы города, солдаты гарнизона и даже заключенные владимирской тюрьмы. При подготовке к празднованию 20-летия со дня Победы горисполком принял решение о восстановлении разрушенной ограды воинского кладбища, предлагалось «оборудовать воинское кладбище в соответствии с проектом». Какой проект имелся в виду, из документа неясно. И лишь в 1972 году наконец вышло постановление благоустроить кладбище «в соответствии с рекомендациями градостроительного совета при управлении главного архитектора города Владимира». На проектирование и сооружение Мемориала братского воинского кладбища было потрачено три года. Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1975 года.

Казалось, все сделано правильно, но я думаю, что самым приемлемым был бы первый проект с каменным обелиском. Созданный почти 30 лет спустя после Победы, новый проект не учитывал расположение захоронений. Получалось, проект сам по себе, а захоронения сами по себе. И чтобы эти две величины совпали, понадобились перезахоронения и братских могил, и ранее умерших мирных граждан. Кому это было надо: живым или мертвым? Скорее живым, но не для памяти сердца, а для помпезных отчетов. Выбитые имена на мемориальных плитах содержат много ошибок. Современные исследования показали, что среди похороненных в братских могилах есть и жители владимирского края. Самое страшное, что трое из них вплоть до начала XXI века считались без вести пропавшими. То есть родные и близкие возможно так и не узнали ничего о своих родных и попали под категорию лиц «родственники изменников Родины». Сталинская государственная система всегда предполагала худшее, а именно – плен, измену. Если бы каждого умершего в госпитале хоронили индивидуально и ставили на могилу хотя бы табличку с именем и номером, то потерять память о человеке было бы практически невозможно. Имя само по себе уже гарантировало бы память. Номер могилы дублировался в книге регистрации кладбища. Если даже бы деревянная дощечка потерялась, то по номеру в книге можно было бы найти место захоронения. Тогда в стране было бы меньше детей, отцы которых пропали без вести. Они, во-первых, не чувствовали бы себя детьми изменников Родины и, во-вторых, получали пособие за отца, который сложил голову за свободу Отечества.

Этим умершим от ран бойцам уже ничего не надо, кроме памяти, которая делает и нас более человечными и цивилизованными. Не покорными исполнителями приказов системы, а демократичными людьми со своей точкой зрения.

...И у мертвых, безгласных,  
Есть отрада одна:  
Мы за Родину пали,  
Но она – спасена.

Наши очи померкли,  
Пламень сердца погас,  
На земле на поверке  
Выкликают не нас,

Нам свои боевые  
Не носить ордена,  
Вам – все это, живые,  
Нам – отрада одна:

Что не даром боролись  
Мы за Родину-Мать.  
Пусть не слышен наш голос —  
Вы должны его знать...

*Александр Твардовский*

Так уж сложилось, что город Владимир узнал и еще одну категорию лиц, для которых бой уже кончился. Это военнопленные немцы. Первые колонны пленных начинают поступать в город уже в декабре 1941 года. Местом их пребывания становится лагерь в пригороде. «Основная масса военнопленных находилась в лагере № 190. В его составе было открыто 32 лаготделения при заводах, торфоразработках, на лесоповале, на строительстве – там, где не хватало мужчин, призванных на фронт. За все годы через этот лагерь прошло 34 тысячи военнопленных всех национальностей, в 1946 году численность заключенных лагеря № 190 составляла 10 тысяч человек. Во Владимире было четыре лаготделения. Находившиеся в них пленные работали на благоустройстве города, строили жилые дома, работали на строительстве здания управления внутренних дел, на кирпичном заводе. Самым крупным строительным объектом стал тракторный завод, где пленные сначала работали на возведении корпусов, а после пуска – рабочими в цехах и на конвейере. На этой огромной стройке немецкие пленные работали вместе с нашими рабочими, которые также жили в бараках, да и сами эти бараки находились по соседству с лагерной зоной»<sup>17</sup>. Где-то здесь, по воспоминаниям и предположениям очевидцев, лежат и они в пренебрежении и безвестности. Парадокс состоит в том, что это теперь та самая улица Мира, где расположена моя школа.

Территория лагеря была обнесена проволокой, но условия содержания не были очень строгими. Пленных водили строем на строительные работы, а в другое время они относительно свободно передвигались по городу. В памяти владимирцев осталось, как многие из них приходили к домам и просили поесть. Сами владимирцы в годы войны жили очень голодно, но все в один голос говорят, что выносили кто что мог: картошину, свеклу, какое-то печиво, которое наполовину состояло из травы и других примесей.

Юлия Николаевна Шамырева очень хорошо помнит, что к ним в дом периодически приходил один и тот же немец. Он практически не говорил по-русски, но, вероятно, понимал, как тяжело живется женщинам в этом доме, и откровенно еды не просил, но на своем языке пытался рассказать о своей семье и всегда показывал фотографию. Мама Юлии Николаевны его выслушивала и старалась чем-нибудь накормить. Так поступали многие жители города и пригородов. Жительница города Владимира Маргарита Ивановна Чурсина вспоминает один эпизод. Чтобы не умереть с голоду, детвора собирала съедобную траву. «Помню, бабушка сказала, как первая крапива пошла: „Все, девчонки, теперь не помрем“. Бабушка давала мне

---

<sup>17</sup> Витманн Ф. Роза для Тамары: Память о плене. Владимир, 2002. С. 118.

корзинку, ножницы, и я шла за крапивой. В то же время на этой горе лазали пленные немцы. Их было очень много. Видимо, варили они крапиву или еще что-то из нее делали, как и мы. Они все ужасно выглядели – плохо одетые, с обмотанными тряпками ногами. Смотреть на них было страшно... Я шла и думала, что они, наверное, уже всю крапиву собрали. Но потом нашла нетронутое место. Они тут же отошли от меня на солидное расстояние. Причем никто ими не командовал, просто они этот участок как бы мне оставили».

В голодном городе голодали и военнопленные, поэтому и побирались по домам. Но даже голодные, они продолжали добросовестно трудиться. Построенные ими дома тогда считались самыми удобными и красивыми. Их руками возведен Тракторный завод. Одного не помнят жители города Владимира: где и как хоронили военнопленных. Если учесть, что труд был тяжел физически, а пищи было мало, то смертность в лагере не могла не быть высокой. Многие высказывают предположение, что хоронили их там, где они работали. Другая версия: в оврагах на пустоши, теперь это территория университетского городка, даже в карьере, где позднее был возведен памятник В. И. Ленину. Т. В. Малышева свидетельствует: «Местная жительница вспоминала, что где-то в северо-восточной части кладбища в самом углу было отведено место под захоронения умерших немцев, но в настоящее время оно утрачено. Удивительно, что почитаемые за подвиг советские солдаты и немилосердно забытые немецкие географически лежат очень близко друг к другу на территории кладбища».

Война – это всегда ужасно. Это кровь, слезы, утраты, горе человеческое. Самое страшное, что она разделяет людей на своих и чужих, на друзей и врагов. В такой ситуации очень трудно остаться человеком, мудрым и гуманным. Особенно если в руках похоронка, если голодает и мучается собственный беззащитный ребенок. Однако история Великой Отечественной войны знает поразительные примеры сострадания и сочувствия к поверженному врагу. Русские женщины подкармливали немецких военнопленных, врачи оказывали им медицинскую помощь.

С тех пор прошло 60 лет. Сегодня я наблюдаю, как свадебные кортежи подъезжают к Вечному огню. Эта картина стала привычной. Захотелось разобраться – почему? В православной христианской традиции было принято обязательно приходить в день венчания к могиле того родителя, который умер, не дожил до радостного дня. Когда после войны сотни отцовских могил оказались разбросаны по русской земле и за границей, именно братские захоронения стали тем местом, где можно отдать дань памяти.

## ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ



## **Москва слезам не верит Воспоминания москвичей о городе в годы войны**

**Ацамаз Гагиев, Максим Ротермель, Андрей Ряшко Москва,  
10-й класс, научный руководитель А. В. Воронина**

До начала 1990-х годов внимание исследователей было сосредоточено в основном на самой Московской битве. Повседневная жизнь города, как и вообще тыл, была на втором плане. Информация о реалиях жизни тех лет была закрытой темой. Мы уверены, что и сегодня имеем не совсем правильное представление о том, что же было на самом деле. Память каждого сохраняет свое, потому что у каждого была своя война, свои обстоятельства, свой кругозор. Очень много лет, даже зачастую десятилетий, так усердно рассказывали о войне в духе победных репортажей, что сегодня даже ветераны не могут говорить другим языком. Они просто не помнят того, о чем раньше говорить было небезопасно. Они так долго это никому не рассказывали, что уже и забыли. Даже сегодня услышать правду нелегко. Правда для большинства людей того поколения одна: мы победили. Победили, потому что все было правильно. А все разговоры о неправильном – это очернение истории и осквернение памяти павших.

Если о человеке на войне уже немало написано, снято, то о том, что и как было в тылу, известно намного меньше. Вот об этом мы и постарались написать нашу работу, опираясь на мемуары, документы и воспоминания тех людей, которые еще могут рассказать о пережитом. Мы, наверное, последнее поколение, которое еще может поговорить с живыми участниками тех событий. Поэтому надо торопиться.

Наша работа посвящена Москве, которая уже летом 1941 года фактически стала прифронтовым городом. Более того, при всякой возможности мы старались собрать материалы о родной для нас Преображенке и прилегающих районах.

Что чувствовали, как выживали обыкновенные, невоенные люди? Как отражались на них трагические события начального периода войны? Как воспринимались ими официальные сводки и вообще сталинская пропаганда в целом? Смогли ли они по-новому оценить и понять предвоенную эпоху?

Даже спустя 60 лет мы не можем избавиться от мифов в нашем сознании, ведь та война – наша последняя святыня. Рухнет она, что же останется? Останется истина. А писавшие свои дневники много десятилетий назад москвичи не всегда даже и догадывались о ней. Но внутренняя честность, просто наблюдательность водила их пером, и поэтому сегодня эти дневники и воспоминания – это наш путь к истине.

В нашей работе мы использовали дневники военного периода Н. К. Вержбицкого, которые хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства (Ф. 2560. Оп. 3. Д. 15).

Николай Константинович Вержбицкий (1889–1973), член Союза писателей и Союза журналистов, прожил долгую жизнь – 84 года. Родился 6 декабря 1889 года (следовательно, в войну ему было 52–56 лет) в Петербурге, на Шпалерной улице, хотя родители его были из крестьян-бедняков, как он уверяет в своей автобиографии. Мать – из Тихвинского уезда, отец – из Мядельского уезда Белоруссии. Мать была прислугой, отец служил в Преображенском полку фельдшером. Николай остался сиротой в четыре года, но в его судьбе принял горячее участие столовавший у них студент Военно-медицинской академии, донской казак. Он устроил мальчика в прогимназию под Варшавой. Позже в Петербурге с помощью жены брата

он попал уже в классическую гимназию № 11. Там он вступил в подпольный кружок. В марте 1906 года накануне выпуска его все же исключили из гимназии с «волчьим билетом». Это лишило его права учиться дальше. Вержбицкий очень рано стал печататься в левых газетах.

С 1911 года он был сотрудником знаменитого «Сатирикона» у А. Аверченко, в 1913 году – редактором журнала «Жизнь» в Москве, потом два года санитаром на фронтах Первой мировой войны. В 1916 году вернулся в Москву. Здесь и застала его революция. В тот период Вержбицкий был редактором частной газеты «Газета для всех».

«В декабре 1918 года по личному распоряжению Ленина был отправлен на Волгу, в район кулацких восстаний и помогал укреплению парторганизаций», – пишет он. В 1919 году работал в созданном по распоряжению вождя агитационном поезде ВЦИК во главе с Калининным. Ленин на всю жизнь остался для него великим авторитетом. Кроме всего прочего, было очень лестно, что сам Ильич звонил ему по прямому проводу, а в 1919 году лично принял.

В 1921 году вернулся в Москву, участвовал в организации кооперативного издательства «Московский рабочий», сотрудничал в «Крокодиле». Работал до 1937 года в информотделе «Известий». Что случилось после 1937 года, мы не выясняли. Сам он этого в автобиографии не пишет. Зато упоминает, что в 1941 году пошел добровольцем на фронт, но уже осенью из-за двусторонней грыжи был отправлен в тыл. Пропал и дневник № 1, который он вел с начала войны. В войну он потерял сына (расстрелян как изменник родины), жену (сошла с ума от горя), женился второй раз на Эдде Семеновне Медведовской.

Вообще начало его карьеры было столь блистательно, что можно подозревать какой-то крах, потому что в годы войны этот нестарый мужчина, в расцвете творческих сил, был никому не нужен, он не печатался в газетах, рисовал коврики, работал плотником в домоуправлении. Только в 1944 году стал получать продуктовую карточку как писатель, хотя состоял в горкоме писательской организации. То, что он был «не у дел», очевидно. Почему – мы сказать не можем. Но эта заброшенность человека, некогда встречавшегося и работавшего с первыми лицами государства, отложила свой отпечаток на характер и оценки автора.

После войны выступал с докладами и литературными воспоминаниями, был лектором Бюро пропаганды при Союзе писателей. Центральная пресса («Правда») даже отметила его 80-летний юбилей, опубликовав статью 9 января 1969 года. За свою долгую жизнь опубликовал более 500 рассказов, очерков, статей, фельетонов, 14 отдельных книг, в том числе об Армении, Грузии, Куприне, Есенине, которых знал лично, воспоминания о своей журналистской работе.

Но, вероятно, самое главное из его литературного наследия – это его дневник. Имеем ли мы право судить его автора? Нет. Но мы и не судим. Мы анализируем. Вержбицкий, безусловно, далек от наших представлений о хорошем человеке. Но он писал очень подробно, много подробнее других. В его дневнике много конкретных фактов.

При чтении этого дневника не покидает чувство, что от этих маленьких серых страничек веет сильным холодом. Автор не сопереживает, не сочувствует: он осуждает, рассуждает, описывает, как описывает ученый-биолог; выносит диагноз, как врач; рассуждает, как политик. Судя по некоторым фактам его биографии, которые попали на страницы дневника, по записям его второй жены, это был очень эгоистичный человек, очень высокого мнения о себе и своих способностях, человек, который выше всего ставил свое здоровье, свой раз и навсегда заведенный распорядок жизни. Неизвестно, умел ли он вообще сострадать. 27 октября 1941 года он с удивлением записал в дневнике: «Впервые по-настоящему ощутил, что я не наблюдаю, а участвую». Вот такие записки «наблюдателя» стали той канвой, на основании которой строился наш рассказ о жизни военной Москвы.

Со временем Вержбицкий, вероятно, стал всерьез считать свой дневник документом большой исторической важности. Во всяком случае явно рассказывал о нем другим людям,

потому что встречаются записи о том, что его знакомые просят упомянуть о них на страницах этого исторического документа.

Мы также записали воспоминания старожила Преображенки Лидии Никитичны Комаровой, которая в детстве жила в Колодезном переулке, и устные рассказы Надежды Акимовны Растянниковой, проживавшей во время войны в доме № 24 по Преображенскому валу. Семьи этих женщин принадлежали к бедному фабричному населению района. В семье Растянниковых работал только отец (кстати, он был единственным и последним мужчиной-ткачом на фабрике «Красная заря»), у Комаровой отец рано умер, а мать работала уборщицей и воспитывала троих детей. Неудивительно, что воспоминания этих женщин сильно отличаются от того, что чувствовал и как жил обеспеченный журналист Н. К. Вержбицкий, хотя и обитали они буквально бок о бок. Кроме того, они мало задумывались над историческим смыслом происходящего. Голод и холод, страдания – вот что наполняет их воспоминания.

Тамара Андреевна Рудковская давно дружит с нашим музеем. Она автор многих опубликованных воспоминаний, хороший рассказчик. Ее детство прошло также на Преображенке, в доме № 17 по Преображенскому валу. Тогда в национализированных корпусах бывшего старообрядческого монастыря были уже коммунальные квартиры. Ее отец возглавлял созданную им спортивную организацию «Рыболов-спортсмен».

Впрочем, таких обеспеченных семей, как ее, на Преображенке тогда было немало, тем более что это был очень многонациональный район деревянных частных домиков. Многие здесь были кустарями-одиночками или работали в маленьких кооперативах. Вообще Преображенка была особым островком, прошлое не спешило отсюда уходить.

## ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

Почему немцы выбрали для нападения самую короткую ночь в году? – В хорошее лето в эту ночь почти не темнеет.

В 1940 году Тамара Рудковская окончила школу и училась в Рыбном институте на ихтиологическом факультете. В это лето подрабатывала в детском саду, где заведующей была ее тетя. Детсад выехал на лето за город. В воскресенье отпросилась домой. На трамвайной остановке услышала страшные слова из громкоговорителя. Запомнились возгласы осуждения: зря, мол, Сталин поверил Гитлеру. Об этом же говорил еще до войны ее отец. В целом народ не принял и осуждал пакт, что вполне понятно. Тамара помнит полную свою растерянность в то утро, но ее, как и многих, не покидало чувство, что война будет где-то далеко, как финская. Тамара осталась в Москве, их семья решила не эвакуироваться. Так и получилось, что именно она записала и рассказала то, что помнила, о военной Преображенке, о своем дворе. Тамара заявила отцу, что немедленно уходит на фронт. Отец, бывший комиссар времен Гражданской войны, высказался резко против. Они поссорились. Уже на следующий день девушка отправилась в райком, который находился в Сокольниках. Весь первый этаж заполняла большая толпа молодежи, было много и девушек. Дежурный каждого вызывал по одному, очередь стояла даже на улице. Пожилой мужчина в форме твердо сказал: «Я твоего заявления не видел, порви. На фронт я тебя не пущу, родину можно защищать и здесь».

Записи Вержбицкого не случайно начинаются с трагического дня 16 октября: автор еще не знал всего, что случится в этот день, но уже ощутил, что ситуация критическая. Поэтому он не только как историк, но и как писатель подробно фиксирует все, что так или иначе характеризует события и обстановку того дня, даже казалось бы самые обыденные вещи: грязную, в репьях лошадь у телефонной будки, трогательное прощание на остановке красноармейца с женой, засыпанную сеном и навозом неубранную Преображенскую улицу. Защитники столицы в тот день выглядели очень угнетенно: по улицам шагали «разношерстные красноармейцы с темными лицами, с глазами, в которых усталость и недоумение. Кажется,

им неизвестна цель, к которой они направляются. У магазинов – огромные очереди, в магазинах сперто и сплошной бабий крик». Выдавали по всем талонам за весь месяц, красноармейцам по одной буханке вне очереди: это была цена близкой смерти. Видимо, торопились успеть: что будет дальше, никто в тот день в Москве не знал. Метро не работало сутра. Трамваи еле двигались. От Калужской заставы до Преображенки ехали по 3–4 часа. Беспеременно громыхали зенитки. Тревоги никто не объявлял, и никто не обращал внимания на взрывы: все были заняты хлебом насущным. По улицам тянулись грузовики с эвакуируемыми: тюки, чемоданы, закутанные в платки люди. Они не знали, что многие из них лишаются родного московского крова навсегда: им не позволят вернуться в столицу. Страх гнал людей на вокзалы. Там уже не продавали билеты, а людское море было страшно.

Кто-то на улицах уже возмущался тем, что ничего не объявляется по радио: вокруг явно происходило что-то необычное. Даже расчет с рабочими за месяц вперед говорил сам за себя. Если сейчас спросить напрямую о том, что думал и чувствовал конкретный человек в те дни, редко можно получить откровенный ответ: «Мы верили... Я не помню уже, но немец так лез на Москву...» и т. д. Однако один очень характерный эпизод мы услышали от Н. А. Растяниковой. Она, тогда еще девочка-первоклассница, жительница дома № 24, среди деревянных домиков Преображенки, казавшегося каменным великаном, с тоской и состраданием наблюдала, как быстро все окрестные помойки заполняются портретами Ленина. Они были разбросаны повсюду около этих мусорных ящиков. И девочке было очень жалко несчастного «дедушку Ленина», о котором она уже успела выучить несколько стихотворений в школе. А вот портретов Сталина она не помнит на помойке ни одного. Это она утверждает. Факт очень интересный с психологической точки зрения. На наш взгляд, он говорит о том, что, во-первых, многие все же оценивали ситуацию прямо как критическую и откровенно предполагали сдачу Москвы: поэтому на всякий случай от портретов вождя революции избавлялись. Видимо, авторитет Ленина к тому периоду был не так уж и велик: его легко отправляли на помойку. А вот со Сталиным дело было труднее. Даже смертельная опасность не могла заставить людей выбросить его портрет, тем более так откровенно – на помойку: с одной стороны, соседи могли опередить в своей расторопности немцев, а во-вторых, нам кажется, это был просто патологический страх перед вождем, даже в «бумажном варианте».

На всех подъездах сняли и уничтожили списки жильцов. Эта мера, вероятно, также была сделана на случай возможной оккупации Москвы. Кто-то боялся за свои фамилии, кого-то по ним могли разыскивать.

По-разному и с разной степенью достоверности и осведомленности вспоминают об этом дне люди, но все повторяют заученное слово «паника». Безусловно, нам спустя столько времени трудно оценивать эти события. Но все же не совсем понятно, что же собственно происходило в тот день в Москве (не беря в расчет события на фронте). Людям объявили, что предприятия прекращают работать, что выдают деньги. Естественно стремление жителей закупить как можно больше продуктов в преддверии надвигающейся оккупации. Естественно и желание уехать, убежать, а что они должны были делать – сидеть и тихо ждать, наблюдать, что произойдет дальше? Люди спешно старались завершить то, что было в их силах до того, как наступит это неизвестное «завтра». Если же говорить о провокации, то с чьей стороны? И неужели даже по сводкам не было ясно, что положение вокруг Москвы критическое и никто не может ручаться за то, чем обернется завтра? Не говоря о том, что этот день вообще еще очень загадочен и многие его события необъяснимы, в том числе и остановка немцев у границы города. Ответы на эти вопросы все равно найдутся рано или поздно – обратимся просто к здравому смыслу тех, кто жил тогда в Москве. Только чудо могло тогда спасти город. Почему-то все, кто остался в городе, стали искренне делать вид, что не понимают, что это было за помутнение сознания и что это все вдруг бросились бежать,

ведь вроде ничего особенного не произошло, даже и не могло произойти. И кстати, некоторые в таком духе притворяются и до сегодняшнего дня.

Через три дня после «паники» Вержбицкий записал в дневнике: «16 октября войдет позорнейшей датой, датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы. И кто навязал нам эту дату? Этот позор? Люди, которые первыми трубили о героизме, несгибаемости, долге, чести. Опозорено шоссе Энтузиастов, по которому неслись в тот день на восток автомобили вчерашних „энтузиастов“ (на словах), груженные никелированными кроватями, коврами, чемоданами, шкафами и жирным мясом хозяев этого барахла».

Тогда в середине октября 1941 года весь гнев москвичей вылился против «бросающих свои посты шкурников». «Но почему правительство не опубликует их имена, не предаст гласному суду?»

О бегстве партийного руководства, о хищениях говорили много и громко: народ надо было успокоить принятыми мерами. Их приняли, а как и кто ответил, это уже вопрос совсем другой. «Все ломают голову над причинами паники, возникшей накануне. Кто властный издал приказ о закрытии заводов, о расчете с заводов, кто автор всего этого кавардака, повального бегства, хищения, смятения в умах. Кругом кричат, громко говорят о предательстве, о том, что „капитаны первые бежали с корабля“ да еще прихватили с собой ценности. Слышны разговоры, за которые три дня назад привлекали бы к трибуналу».

Да, люди заговорили, впервые за много лет открыто стали возмущаться на улице, просто чтобы наконец выговориться, как потом много лет в пустоту возмущались в бесконечных очередях. А тогда накопившееся в душе выплескивали в виде привычных «предательство, паника». Но, возможно, это была просто спешно объявленная эвакуация, в которой уже через два дня было стыдно и ненужно сознаваться.

Сын Вержбицкого Валя сообщил, что их завод был минирован, директор товарищ Муха «улетел с головкой. Расчет производился вне завода. Жгли чертежи. В результате на заводе имени Маленкова, где делают части танков, висит замок». «В продмаге на стене объявление: „Тов. косширши! За вами числится 2699 руб. 93 коп. Предлагаем явиться в трехдневный срок и представить отчет...“ Так ищут дезертиров-грабителей», – пишет возмущенный автор дневника. Как всегда виноваты стрелочники.

Рудковская к этому времени уже работала на Бужениновской улице, на заводе, который до войны был гравировальным цехом и изготавливал галантерейную продукцию: пудреницы, портсигары. Теперь здесь собирали гранаты РГД-3. Ее работа заключалась в проверке соответствия шаблону – иначе грозила беда самому бойцу.

16 октября 1941 года начало смены на заводе – шесть утра. В этот день в цехах что-то странное. Станки не включены, рабочие тревожно шептались. Ждали директора, был приказ работу без него не начинать. Он пришел часа через полтора после долгого ночного совещания в райкоме, объявил, что завод эвакуируется, немцы в 20 км от города. Уходить можно по свободному пока шоссе Энтузиастов. Всем выдали трехмесячную зарплату. На заводе остались только коммунисты и комсомольцы, вероятно, для особого задания или готовили эвакуацию оборудования. Когда 17 октября А. С. Щербаков по радио призвал всех вернуться на свои рабочие места, она вернулась. И до сих пор в душе считает все это недоразумением, возникшим из-за паникеров, хапуг и трусов. Ни тогда, ни теперь она не может поверить в то, что Москву могли сдать, собирались сдать, что это было вполне конкретно, об этом приняли решение на том ночном совещании в верхах и поэтому предложили всем уходить из города, а не просто так все побежали. Просто сам факт сдачи Москвы, особенно после стольких лет всевозможных юбилеев, кажется столь кошунственным, что другого объяснения, как паника, почему-то к этому дню не находят. Не паника, а просто массовое бегство вследствие наспех отданного приказа.

В октябре 1941 года Москва стала настоящим прифронтовым городом. Линия фронта была в получасе езды на автомобиле. Все товарные станции были забиты составами и промышленным оборудованием – не успевали вывозить. Торопились уехать и жители. На станциях и подъездных путях – ящики с картинами и скульптурой, музейными ценностями. Ночами в небо поднимались сотни огромных огурцов – аэростатов воздушного заграждения. 5 октября – может быть, самый опасный день в боях за Москву. Начальника Московского областного УНКВД Журавлева вызвали в приемную первого секретаря Московского горкома и обкома партии Щербакова. Его кабинет находился на Старой площади. Все стены в кабинете были увешаны военными картами. После заседания ГКО сам он был очень встревожен: приняли решение начать подготовку к переводу на нелегальное положение групп московских партработников. Щербаков отдал распоряжение отобрать людей для нелегальной работы – на добровольном основании. Все родственники и близкие будущих нелегалов эвакуировались далеко из Москвы. Это было главным условием. Среди желающих оказалось немало женщин из московских райкомов. Спецлаборатории НКВД готовили фальшивые документы. Готовился органами и список объектов, «в отношении которых следует принять особые меры в случае возникновения критической ситуации». Таких объектов было насчитано более тысячи. 12 мостов, автобазы, Гознак, телеграф, ТАСС – все было обречено. Трудно себе представить, какие культурные и исторические потери понес бы наш город. Ликвидация предполагалась путем взрыва или поджога. Для этого были сформированы особые группы, привлекали специалистов по минированию. 20 тонн, то есть 20 тысяч кг, взрывчатки было приготовлено для Москвы. Комиссия по проведению «спецмероприятий» состояла из пяти человек, от НКВД СССР в нее входил И. А. Серов, от Московского НКВД – М. Журавлев, а также представители партии и наркомата обороны. Все эти мероприятия должны были проходить под личным контролем Журавлева. Он своим распоряжением от 20 октября 1941 года всем начальникам райотделов НКВД приказал «обеспечить проведение спецмероприятий».

19 октября 1941 года было опубликовано Постановление ГКО о введении в Москве и прилегающих районах *осадного положения*. «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах западнее столицы поручена командующему Западным фронтом генералу т. Жукову, а на начальника гарнизона Москвы генерал-лейтенанта Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах... ГКО постановляет: с 20 октября ввести в Москве и прилегающих районах осадное положение. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 ночи до 5 утра... Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте».

Неужели город устоит? Странно, что устоял.

Панические разговоры поутихли через дней десять, но, судя по записям в дневнике, продолжались так или иначе почти всю зиму 1941 года. «30 октября. Домоуправление, секретарша: „А все-таки немцы сильный, организованный народ, умеет воевать, работать, любит порядок. Наверное, зарплату выдают у них вовремя“».

Если бы не эти свидетельства очевидца, просто невозможно было бы себе представить, что москвичи, только что пережившие страшную опасность возможной оккупации и гибели Москвы (или они не предполагали, чем кончится дело?), могут так спокойно ставить на чашу весов рядом свободу и независимость своей родины и своевременную выдачу зарплаты. Безусловно, это говорит о том, что тогда не были известны зверства фашистов, люди слабо представляли себе, с чем им пришлось столкнуться, и главное, не так уж патриотично были настроены. Это сегодня, когда забылось многое из того, что помнить не хочется, осталась в памяти одна своевременная выдача зарплаты, это сейчас пенсионеры кричат о счастливым прошлом. А в конце октября 1941 года баба с мясорубкой в руке во дворе Колодезного

переулкa кричала другое: «На что мы страдаем? Пусть бы коммунисты дрались с фашистами за свои программы, а мы-то при чем?»

В городе 16 октября практически прекратилась жизнь учреждений. В сберкассах во мраке готовились к сожжению документов, в некоторых наркоматах (Вержбицкий посетил Наркомфин) никого не было. В полутемном ГУМе «купил три кило свеклы. О радость!» Народной Преображенке у мясмагазина увидел, как работники магазина тащили домой окорока. На фабрике им. Щербакова работники били директора, который пытался удрать с имуществом на автомобиле.

Даже неделю спустя, 23 октября, Вержбицкий в дневнике отмечал, что с неба «падает черный снег. Это остатки документов, сожженных в печах центрального отопления. Маленькие черные бабочки».

Из дневника Вержбицкого. «19 октября. Опять обман, опять прикрывательство. А сейчас мне сообщили, что у Абельмановской заставы толпа сама стала задерживать бегущих и выволакивать их из машин». Обратим внимание на то, что еще и 19 октября продолжалось бегство из Москвы. Поэтому «панику» нельзя ограничивать только датой 16 октября.

Сами Вержбицкие решили несмотря ни на что остаться в Москве. Налеты фашистской авиации следовали один за другим. Кроме скурых сводок в газетах, отсутствовала всякая печатная информация, неизвестны были и постановления Моссовета, если они вообще были. Два дня не вывешивалась на улицах «Правда». Никаких сообщений или заявлений ни от ЦК партии, ни от Коминтерна не было вообще с начала войны.

Через 10–12 дней в Москве стали исчезать последствия несостоявшегося бегства. «28 октября. На улице стало чиннее, спокойней, чище... Тон в разговорах уравновешенней».

7 ноября 1941 года. «Невеселый праздник. По улице идет „демонстрация“ – две сотни женщин и мужчин, подтянутые поясами с лопатами и ломом на плечах. Холодно, ветер, падает тяжелый снег. Огромные очереди за картошкой и хлебом. Радио все утро хрипело и срывалось. Говорят, что это немцы „сбивают волну“... В параде на Красной площади участвовало несколько сот танков. Это очень успокоило москвичей. Хотя некоторые говорят: „Зачем они парадуют около Кремля, им нужно быть на фронте!“ Сталин сказал, что война продлится еще несколько месяцев, пол год а, а может быть, и „годик“».

## БОМБЕЖКИ

К 17 января 1942 года в Москве было развернуто 54 боевые позиции ПВО в пределах Садового кольца<sup>18</sup>. «Москва стала прифронтовым городом гораздо раньше, чем фашисты подошли к ее стенам, – со времени первого вражеского налета. А возьмем хотя бы налет в ночь на 10 октября. Налетело 70 вражеских самолетов, бомбы попали в Большой театр, Курский вокзал, Центральный телеграф. Разрушено было 50 жилых домов, убито 150 человек, ранено более пятисот. А всего таких налетов было 122... Москва стала не только кладбищем изрядной доли германской авиации, но и могилой тысяч мирных жителей фронтового города»<sup>19</sup>.

Население вело себя самоотверженно. Рыли водоемы, заготавливали бочки с водой. С ведрами, корзинами, мешками, все таскали песок на чердаки, в подвалы, на лестничные клетки, к подъездам. Кстати, подъезды всех каменных домов постарались быстро засыпать плотно песком, чтобы дома к тому же и устояли. Для укрытия людей делались землянки,

<sup>18</sup> Из воспоминаний командующего истребительной авиацией ПВО Н. А. Сбытнова (Москва военная. 1941–1945 годы: Мемуары и архивные документы. М., 1995. С. 83–84).

<sup>19</sup> Из воспоминаний зам. пред. Ростокинского райисполкома К. Д. Осипова о штабе ПВО в первые часы войны (Москва прифронтовая. 1941–1945 годы. М., 2001. С. 77).

щели, бомбоубежища. Но в ряде районов эта работа была крайне плохо организована. Щели рыли без спусков и креплений – хоть прыгай вниз полтора метра. Не хватало лопат, и пришедшие после работы люди просто стояли и курили, не находя начальство.

Двенадцатого числа был издан приказ об обязательном привлечении всего работоспособного населения города к устройству траншей, расчистке дворов от заборов и сараев, чердаков от мусора и т. п. – до трех часов в день, а неработающее население – до восьми часов в сутки. Освобождались только беременные и кормящие женщины, врачи и больные. За отказ от подобных работ полагался штраф от 100 до 300 рублей (порядка средней зарплаты).

На Преображенке сохранилось немало бомбоубежищ. С помощью местных жителей мы смогли их разыскать их остатки. Сохранились они в основном в доме № 24 по Преображенскому валу, за ним на большой поляне, до сих пор незастроенной, и в некоторых домах по Щербаковской улице. Люди, как правило, хорошо помнят о бомбоубежищах и показывают их. Молодежь не особенно обращает внимание на эти отдушины, торчащие посредине дворов, а прежние входы принимает за входы в подвалы. В некоторых случаях это действительно так. Двери в эти бомбоубежища – подвалы – не всегда закрыты, поэтому нам удалось побывать в некоторых из них.

Сначала в городе было несколько видов бомбоубежищ: переоборудованные подвалы домов, специально оборудованные подземелья, землянки окопного типа и так называемые щели-траншеи, в которые можно было быстро спуститься (предназначались они в основном для прохожих). В середине августа щели отменили, так как они оказались непригодными для длительного пребывания в зимнее время ввиду отсутствия отопления.

Активно использовалось в годы войны и московское метро. Там прятались во время бомбежек, там располагались читальные залы некоторых библиотек, и метро еще всю войну исправно перевозило пассажиров. 21 сентября вышло специальное постановление об использовании метрополитена как бомбоубежища для проживающего вблизи населения. В первую очередь туда пропускали женщин с детьми до 12 лет, потом всех остальных. Почти во всех районах города были созданы комсомольско-пожарные батальоны по 250–300 человек для охраны строек, высотных домов и прочих важных объектов. Но они оказались плохо оснащены, их делами никто не интересовался. Дисциплина была очень низкой – драки, карты. Через пять месяцев их расформировали и заменили постоянными отрядами ПВО.

Бомбежки начались 21 июля, и тогда же – усиленная маскировка города. До этого были видны зарева пожаров, мчались куда-то, свистя, пожарные машины, но в целом город не знал, что такое бомбы. Тревогу не всегда подавали по радио, иногда слабой далекой сиреной.

В целом в городе сильно страдали от бомбежек деревянные дома и бараки. Их было много. Например, половина Преображенки были частные дома. Вдоль Яузы стояли еще и в 1950-е годы бараки, которые заливала река в половодье так, что ребята не могли переправиться в школу на соседний берег. За 21,22,23 июля в городе в результате бомбежек без жилья и имущества осталось более шести тысяч человек (особенно в районе Ленинградского, Хорошевского шоссе, Беговой улицы). Людей размещали в школы, общежития, «уплотняли» в дома, пытались наладить материальную помощь, бесплатное питание. Но людей были тысячи, многие остались только в том, что было одето на них. Каково им было жить в физкультурных и актовых залах, классах, где они спали прямо на партах, на полу, на матрасах. Керосинки, скученность, угнетенное, подавленное настроение, кучи разбросанных вещей, плачущие дети. Во многих местах люди не получили никакой помощи. Более сильные вытесняли слабых.

Первый массированный налет на Москву был в ночь на 22 июля, через месяц после начала войны. Бомбили Ярославское шоссе, Ростокино. Там сбросили более 10 000 зажигалок – и всего 55 пожаров, из них 46 потушили сами жители. Отчаянно боролись с зажигалками, это во многом спасло город от пожаров, ведь Москву, как и Ленинград, буквально

засыпали тысячами зажигательных снарядов. Эту шипевшую гадость надо было схватить щипцами и бросить вниз – во дворе ждал песок – или опустить в бочку с водой. Дежурили на крышах даже дети. Вообще быстро перестали бояться. Уже 22 июля в Боткинской больнице медперсонал проявил героизм и самоотверженность, спасая больных: буквально под огнем выносили детей из корпусов больницы, где двери и окна выворачивало воздушной волной.

В августе было около 20 налетов, тревог – еще больше. За лето в Москве были разгромлены: несколько больниц, две поликлиники, три детских сада, театр Вахтангова, жилые здания и мелкие предприятия. Убито 736 человек, тяжело ранено 1444, легко – 2069.

Из дневника Вержбицкого. 12 августа сильно бомбили центр города: «Ужасные результаты. Сброшена тонная бомба у памятника Тимирязеву, в Брюсовском переулке, пробит Малый Каменный мост и многое другое».

Всю осень Москву нещадно бомбили. В основном тревоги приходились на ночное время, и люди были лишены возможности хоть немного поспать после тяжелого трудового дня. Из дневника Вержбицкого: «23 октября. Всю ночь сплошная пальба, без тревоги... Прорысываешься, слушаешь со стесненным сердцем и думаешь о нехорошем. Надо бы одеться, пойти в убежище, но на дворе темень, холод, сырость».

Из дневника Вержбицкого. Девочка в больнице говорит: «Я больше всех люблю папу, маму и отбой». «Вчера вечером бомбой разрушено три деревянных дома в Сокольниках около прудов. Ночью стрельба... 7 ноября 1941 года. Бомба упала на университет. Памятник Ломоносову повержен. Провалилась крыша Манежа. Выселяют жителей с Софийской набережной». К середине ноября из разбомбленного Замоскворечья стали переселять в восточные окраины города. Особенно уплотнился район Сокольников. Переселенцам, по словам Вержбицкого, разрешалось брать только узлы, поскольку невозможно найти транспорт.

## ПРЕССА

Столкнувшись с этой темой, мы впервые задумались о том, как интересно было бы изучить московскую прессу военного периода.

На прессу в своем дневнике обращает внимание и Вержбицкий, как профессиональный газетчик. Он был ею очень недоволен, но по другим причинам, нежели мы. Тема шпионов и диверсантов его не трогала, вернее, он был уверен в существовании таких скрытых врагов. А вот мы обратили внимание на это в первую очередь. И считаем, что это оказало огромное влияние на сознание людей того периода. Многие пожилые люди до сих пор с такой уверенностью говорят об этих диверсантах и шпионах, как будто они сами их вылавливали пачками. А таких несчастных, которые пали жертвой инспирированной газетами подзвонности или человеческой злобы и зависти соседей, было много. Даже очень много, если судить по этим газетным публикациям. Страшно было, наверное, выходить на общую коммунальную кухню, где взгляд соседа следил – не проявляете ли вы подозрительный интерес к чему-либо такому эдакому.

В популярной тогда газете «Московский большевик» появилась статья «Сеятель ложных слухов – пособник врага». В ней говорилось, что снисходительность к подобному явлению совершенно нетерпима, но имеются еще политически беспечные люди, по-обыкновенно относящиеся к своим гражданским обязанностям... Случайно услышав в трамвае, поезде, магазине клеветническое измышление, совершенно не задумываясь над «достоверностью», передают это родным, знакомым, соседям.

Московская пресса осенью 1941 года резко сменила тон, забыв слово «советский» и всю напирая на слово «русский». Это, на наш взгляд, было, по крайней мере, некорректно, потому что шла война, объединившая все республики. И Москву-то как раз защищали представители многих национальностей, в первую очередь казахи.

В конце ноября в прессе, в том числе и «Правде», которую читала вся страна, стали настойчиво появляться русофильские мотивы. Впервые за много лет заговорили не о «советском», а о «русском»: «Москва – святой город для каждого русского». На этот счет Вержбицкий заметил: «Взываем к чувству русского патриотизма, когда стало очень тяжело. О нем совсем было забыто в годы относительного благополучия». Видно, не срабатывали «советские» лозунги или в их действительности были так не уверены, что прибегли к испытанному временем варианту: любви к России, которая всегда была многонациональной страной. Впрочем, несомненно, упор делался именно на русское население. Появились подобные настроения и в дневнике Вержбицкого: «Великий русский народ... поражая героизмом своих братьев, говорящих на шестидесяти языках народов СССР...»

10 ноября 1941 года. «По Стромынке идут грузовики с хорошо одетыми, вооруженными, весело поющими людьми. По городу двигаются многочисленные, тепло и хорошо обмундированные бойцы среднего возраста. Настоящая армия, четко маршируют». Т. А. Рудковская вспоминала: «Как мы радовались, когда на улицах появились эти люди в белых полушубках, иногда с лыжами! Они были такие веселые, сильные. Мы так верили, что они отгонят фрицев, что эти сильные люди нас спасут! Чуть не целовали и не кланялись им. И они это чувствовали. Да, сибиряки спасли Москву, они принесли в город веру и надежду».

Запись в дневнике 14 декабря 1941 года: «Жена рассказывает: у них в цеху был митинг по поводу побед. Докладчик завопил возглас: „Да здравствует Красная Армия, ее вождь великий Сталин!“ В ответ раздался только один жидкий неуверенный хлопок (!) Сравнить восторг рабочих по поводу побед: на Красный Крест сдавали не по два рубля, а предлагали по пять-десять. Отношение к Красной Армии самое трогательное. Но возглас закончился именем Сталина. Откуда такой холодок?»

Да, видно, тогда были уже не те времена, когда люди падали в обморок от долгих аплодисментов. Расскажи сейчас такое ветерану – не поверит, он помнит другое, потому что *такого* тогда старались не замечать.

## ПОГОДА

О погоде Вержбицкий, как истинный москвич, писал коротко, но каждый день. И он не ошибся в своих ожиданиях. Следующая зима была с постоянными оттепелями, в народе ее называли «сиротской». Но зима 1941 года удалась на славу. Это было большое испытание даже для местного населения. Что уж говорить о немцах, ведь в Германии зимой обычно морозов не бывает.

Морозы начались в первой декаде декабря. До этого были заморозки, земля сильно промерзала, но это была все же только холодная осень.

Если проанализировать таблицу погоды на декабрь с того числа, когда Красная Армия перешла в наступление, то окажется, что сильные холода (по российским меркам), то есть свыше 20 градусов, наступили только с 5 декабря (до этого уже с ноября холод держался на уровне -15 —18 градусов). Продержались они все го несколько дней, ибо уже восьмого числа наступило сильное потепление, градусник не показывал ниже двух градусов мороза. Оттепель продолжалась до тринадцатого числа (шесть дней), после чего – опять мороз в течение двух дней, опять оттепель, и достаточно теплой оставалась погода до конца декабря. Таким образом, те, кто начали решительное наступление в декабре 1941 года на севере от Москвы, сумели очень точно использовать небольшие промежутки сильного мороза, который в декабре никогда подолгу не держался. В январе наступили по-настоящему лютые морозы. В феврале морозы резко отступили. К концу месяца наступили яркие, почти весенние дни с капелью. В начале марта вдруг ударили морозы, налетели метели. 6 марта было до -20 градусов, после небольшого потепления 15 марта «два дня свирепствовала метель с

морозами вновь до 20 градусов. Нанесло сугробы. Стояли трамваи. Люди возвращались с работы в эту дьявольскую погоду пешком, делая по 5-10 км».

## НЕМЦЫ

«Почему у нас не опубликовывают фамилии убитых? Почему немцы делают это?» Где же взять столько газетных полос для этих списков убитых, да и кто их поименно назовет, да что вообще могло бы случиться после публикации этого чудовищного некролога?

Подмечает автор вместе с остальным народом и то, что у немцев получается, а что нет. Вот уж действительно, что русскому хорошо, то немцу смерть. «Нехитрая вещь – валенок, но немцы не смогли его „освоить“. У некоторых пленных на ногах— „эрзац-валенки“ весом в 3–4 кг на деревянной подошве, на гвоздях, с ремнями. Наш валенок весит полкило, одевается в полсекунды, мягок, тепел, дешев».

В связи с этим мы хотим вспомнить 17 июля 1944 года, когда колонны пленных солдат прошли под конвоем по улицам Москвы.

Тамара Рудковская в этот день собиралась в институт и наткнулась на оцепление вдоль Садового кольца. Стояли солдаты неплотно, через несколько метров друг от друга, с винтовками. Людей вдоль оцепления было немного: рабочий день. Стояли плотностью в несколько человек, но повсюду – насколько хватало глаз. Тамаре показалась вся эта картина страшной. Было ли у нее чувство ненависти? Нет. Но она уверяет, что ее губы все-таки шептали: «Гады и сволочи! Кто вас звал? Сами себя до чего довели... Зачем вы к нам пришли?»

Ночь накануне эти колонны плененных под Сталинградом немцев провели на ипподроме. С той стороны, от зоопарка, их и выводили на Садовое кольцо в сторону Москвы-реки. Тамара оказалась в числе первых, кто видел выходящие в свой скорбный путь колонны. Впереди шел генерал. Он шел совершенно один, впереди всех, строгий, прямой, подтянутый, в очках, с каменным лицом. И никого вокруг не видел. Шел с большим достоинством, как будто вел не тех огородных чучел, в которые были наряжены его солдаты, а настоящее войско. За ним по несколько человек в ряд шли офицеры. Как показалось Тамаре (и не только ей), они с большим любопытством (именно с любопытством) оглядывали все вокруг, город, людей. Дальше шли солдаты. Это было просто ужасно. Худые, оборванные, наряженные в то, что они отнимали у русских, погибая от холода, хотя и было лето: клетчатые бабьи платки, телогрейки, огромные эрзац-валенки. Тамара видела их впервые, хотя и читала о таких. Очень высокие, сплетенные из соломы, с огромными ступнями, просто чудовищно огромные. Их надевали поверх своих сапог. Шли они в таких эрзацах, как парализованные. Даже не шли, а еле ползли. Многие были замотаны какими-то тряпками. И вот такое войско вел человек с каменным лицом. Народ вокруг молчал. Более того – стояла звенящая тишина. Никаких выкриков. Было такое ощущение, что и зрители оцепенели от ужаса. Мимо них шли несчастные люди – тоскливые, безразличные ко всему, отрешенные. Несчастные солдаты, которые расплачиваются зато, что заставили их делать фашисты. И вдруг один из них очнулся. Рядом с Тамарой стояла женщина с маленькой девочкой на руках. Этот немец увидел ребенка, который остро напомнил ему собственную дочь. Он вырвался из ряда, бросился к ней и закричал: «Эльза! Эльза!» Он протягивал к ней руки и плакал... Девочка тоже испугалась и заплакала, женщина тоже и сильнее прижала дочку к себе. Немца оттолкнула охрана, но он долго еще оборачивался и плакал, и протягивал руки...

Об этом же дне нам рассказал и Владимир Константинович Верников, учитель московской школы № 426, который тогда был десятилетним мальчишкой, потерявшим на фронте отца. В его душе была ненависть. Они и кампания его сверстников встречала эту колонну на Таганке. Поскольку шествие нескольких тысяч человек было долгим, они успели несколько раз сбежать на соседние огороды Таганской слободы и набрать там камней, комьев земли и

проч. Каждый раз они возвращались и кидали это в немцев. Взрослые не одобряли этого и уговаривали перестать.

Из рассказа другого человека, работника московского ипподрома, фамилию которого мы не знаем (просто дядя Коля), хотелось привести другой пример. Уже в послевоенной Москве немцы, работавшие на стройках города, иногда ходили и побирались по домам. Во всяком случае к ним в дом, а жили они в районе Мещанских улиц, приходили. Отец дяди Коли потерял на фронте руку. Однажды, открыв такому пленному дверь, он поговорил с ним по-немецки (отец хорошо знал язык), потом попросил жену отдать немцу буханку. Немец заплакал и ушел. На вопрос удивленной жены отец объяснил, что, оказывается, они с этим немцем в свое время воевали чуть ли не друг против друга в соседних окопах. А теперь отец спокойно отдал ему буханку – оставшейся рукой...

## **ЭВАКУИРОВАННЫЕ И БЕЖЕНЦЫ**

25 июня, через три дня после начала войны, в Москве было введено военное положение в соответствии с указом Президиума Верховного Совета. Под угрозой наказания по законам военного времени все общественные, культурные и развлекательные учреждения отныне заканчивали свою работу в 22 часа 45 минут. Воспрещалось движение всякого транспорта и пешеходов с 24 до 4-х утра. В Москву воспрещался въезд лицам, не прописанным на постоянное местожительство. Для работающих жителей пригорода вводились спецпропуска. Пункт пятого приказа начальника гарнизона столицы генерал-майора И. Захаркина запрещал фотографирование и киносъемку в пределах Москвы без специального разрешения.

Тем не менее уже летом 1941 года в городе стали появляться эвакуированные из прифронтовой полосы, беженцы, «пленные», как со временем стали они себя называть, побывав в оккупации.

Эвакуация в Москве началась еще летом. Сначала это были дети, потом важные оборонные заводы, потом эвакуация превратилась в бегство. Вскоре начался обратный процесс, потому что в глубинке оказалось еще труднее прожить. Многим не удалось вернуться в родной город никогда.

## **ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ**

В массовом порядке она началась в Москве в июле 1941 года. Эвакопункты создавались при школах. Организаторами на местах в основном выступали комсомольцы. Они помогали в перевозке детей на вокзал, покупали игрушки, воду. В Москве действовало обязательное постановление о детской эвакуации. Молодежь ходила по домам, агитировала родителей, вручала повестки. Таких случаев, как в Ленинграде – отвел ребенка в детский сад, а вечером садик уже уехал с детьми из города, – про Москву мы не слышали. Наверное, здесь не было такой спешной эвакуации. Многие родители боялись отпускать детей в неизвестность. Так Н. А. Растяникова рассказывала, что ее неграмотный отец, человек простой, деревенский, переехавший в Москву только в 1920-е годы, не верил никаким обещаниям. Поэтому маленькую Надю он просто перестал пускать в школу, чтобы про нее, второклассницу, забыли. Когда стали ходить по квартирам, прятал под кроватью, не разрешал выходить из комнаты, поскольку жили в общей коммунальной квартире. Осенью решили из Москвы бежать к родственникам в деревню, но уехать уже не смогли: на вокзалах было вавилонское столпотворение.

По решению исполкома Моссовета от 17 сентября эвакуированные платили квартплату не более 50 % в том случае, если сдали жилплощадь домоуправлению. Если нет, то все 100 %.

Однако уже 22 сентября все в корне изменилось: вышло постановление Моссовета «О временном запрещении въезда эвакуированных лиц в Москву вплоть до особого распоряжения». Запрещалась их обратная прописка до особого разрешения. Пункт 4 гласил: «Обязать Моссовет не выдавать продовольственные карточки эвакуированным и самовольно вернувшимся». А это – голодная смерть. Разрешались посылки эвакуированным от родных – белья, обуви, одежды до 8 кг. Что такое 8 кг для человека, который оставил (читай, потерял навеки) все? Неудивительно, что эвакуацию потом все в один голос вспоминали как один долгий кошмар. Многие, наверняка, не предполагали, уезжая впопыхах, что все так обернется. Уехали – приехали. Но не тут-то было. В советской стране уехал – пиши пропало. На многие годы потеря прописки, жилья. Отъезд из города стал для москвича воплощением ужаса и почти конца жизни.

Вержбицкий по поводу эвакуированных знакомых пишет часто. Сами москвичи не сразу после панического 16 октября успокоились. Еще и спустя неделю многие мечтали уйти из Москвы. Кто-то уходил просто в никуда, забросив за плечи мешок с сухарями, другие мечтали уйти хоть пешком, но им мешали обстоятельства.

Из дневника Вержбицкого, 21 ноября 1941 года: «Из Уфы сообщают, что жить там плохо. Башкиры недовольны нашими беженцами. Многие из эвакуированных сумели вернуться и живут без прописки. Милиция и патрули тщательно проверяют документы на улицах и в магазинах, даже у женщин».

22 ноября. «Получил письмо от сестры из Горьковской области. Пишет, плохо».

24 ноября. «Со всех сторон слышится, что наши большевистские колхозники в глубинах России не очень-то гостеприимно встречают беженцев. Чуть не забрасывают камнями».

14 июня. «Сестра пишет из деревни, что колхозники их, эвакуированных, ненавидят и презирают».

22 октября. «На Стромьнке два несчастных оборванных до невозможности человечка. Закутаны в лохмотья. Можно подумать, что они подбирают на пути каждую рваную, грязную тряпку и накручивают ее на себя. Армяне из-под Еревана. Были в лагере для заключенных под Вязьмой, рыли окопы. Их разбомбили. Остались живы. Никому до них нет дела, добрались до Москвы, два дня не ели. Ищут какого-нибудь армянина».

Вот так, оказывается, обстояли дела с невольно освободившимися заключенными из разбомбленных лагерей: они были обречены на голод, если не голодную смерть. Никому до них не было дела. Сами себе были предоставлены и те, кто бежал из оккупированных районов. Эти люди стали в Москве «распространителями» тех нежеланных слухов, о которых так много писали газеты. Горожане слушали этих людей и не могли поверить в эту ужасную реальность. Немудрено: подобные рассказы и теперь нелегко слушать, и потрясают не только зверства немцев, но и жестокость местного населения. Откуда она, неужели за несколько месяцев оккупации можно до такой степени потерять себя?

8 января. «На улице гуськом беженцы из оккупированной местности. Кое-как одетые крестьяне, ноги укутаны в тряпки, головы – в рваные платки. Глаза испуганы. На вопросы отвечают неохотно».

9 января. «По улице гуськом оборванные крестьяне. Обросшие, дикие, в случайной одежде. Руки – в рукавах. Себя называют „пленные“. Это те, что побывали в оккупации».

## ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

В анализе московской военной повседневности мы в основном опираемся на дневник Вержбицкого. О быте, ценах, продуктах он сообщает, поскольку это много значило для него самого. Об окружающих людях он писал в основном с раздражением, все они чем-то его не устраивали, особенно молодежь и писательская среда.

Зима 1941 года. В Москве лютовали морозы. В комнате у Тамары Рудковской был собачий холод: спала в пальто и валенках. Огромный аквариум промерз до дна вместе с рыбками. Она вспоминает эпизод со сбором новогодних подарков для фронта. Собирали рабочие с ее завода. Теплые вещи, кисеты с махоркой, письма с пожеланием победы и одна пачка печенья. Работали тогда по 20 часов в сутки: четыре часа на дорогу и сон. Тамаре доверили отвезти подарки на сборный пункт во Всехсвятском. И сегодня по тому же маршруту можно доехать до Останкино. Промерзшие трамваи, холод, сковывающий дыхание. Тамара в огромных кирзовых сапогах с невероятным количеством портянок, ватные штаны, телогрейка, треух – спецформа завода. Но варежки – из деревенской шерсти с пухом, довоенный подарок бабушки. Ими Тамара особенно дорожила. Более часа тащился трамвай, мечталось хотя бы о кипятке с солью, другого «чая» не было. Печенье в сумке жгло душу. Сначала она отвернула уголок – посмотреть. Потом не удержалась. Уже в длинной и долгой очереди (стояла почти до вечера) на сборном пункте ее замучила совесть. Конечно, одна пачка печенья на фронте ничего не решала. Но все же... До того стало противно на себя, что во искупление содеянного сорвала Тамара свои пушистые варежки и отдала в подарок «какой-нибудь полевой медсестре».

## ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

После указа о затемнении города москвичи столкнулись с проблемой темноты. Это было неожиданно, непривычно, вселяло в сердца тревогу и неуверенность. Люди даже натыкались на улицах друг на друга. В конце ноября 1941 года в продаже появились светящиеся в темноте карточки, которые можно было прикрепить к одежде, стоили они 1 рубль 60 копеек.

Тогда же посыпались законы об экономии электроэнергии вместе с налогами на холода и бездетных. Были запрещены электропечи. Тем не менее с января 1942 года электричество стало регулярно тухнуть на 2–3 часа в день, его явно не хватало. Некоторые фабрики даже закрывались из-за нехватки. «В продмагах на прилавках нещадно копят, лампочки», сделанные из аптечных пузырьков, залитых керосином. Вместо пробки – жестяная бляшка, в ней дырочка, через дырочку продет фитиль-веревочка. А ведь до войны магазины были полны керосиновыми лампами. Куда делись?» (22 января 1942 года)

Уличное освещение возвратилось в город в январе 1944-го.

16 января. «Сегодня ночью загорелись фонари у нас на Стромынке, правда, в пол света. Но какая это радость! Однако радио требует самого тщательного затемнения в окнах. Штраф от 500 до 1000 рублей. В фарах автомобилей щелки». В середине февраля осветился и родной для автора дневника Колодезный переулок. «13 февраля. Это уже зримый, очевидный и непреложный факт, что война идет к концу. Это убедительнее тысячи газетных строк. И я настроен сверхрадостно!» У самого автора за перерасход энергии отключили свет на два месяца (была и такая мера пресечения) плюс штраф на приличную сумму – в 900 рублей. Наверное, он много писал: «Работаю при копилке. Уличный фонарик так мило бросает свой жиденький свет в мою комнату. Я шлю ему воздушные поцелуи. Это поймет тот, кто прожил много-много месяцев в полном мраке, кто в этом мраке ощущал всю чудовищность войны, кто набил себе шишек и фонарей... И рядом с этим неистребимое злорадство: 90 % Берлина в развалинах...»

## ОТОПЛЕНИЕ

Эта проблема стояла еще острее, чем электричества. Если без света хоть как-то можно было обойтись, то холод, как и голод, не тетка. К первой военной зиме в этом отношении подготовиться не успели. Она была не только холодная, но и очень снежная. Уже в декабре

сбрасывали снег с крыш. В помощь вымотанным дворникам снаряжали особые бригады жителей. В декабре было издано постановление Моссовета об утеплении помещений, то есть необходимости забивать окна фанерой, чтобы не лопались трубы бездействующего центрального отопления. Н. А. Растяникова вспоминает, что в их комнате в ту зиму замерзала вода в стаканах. Одеядло, прибитое к окну для светомаскировки, примерзло навсегда. Спали все вместе в одной кровати и в одежде. Маленькая девочка, которую никто не заставлял, сама вставала в этом леднике и собиралась в школу на вечно голодный желудок. В школе каждый день давали булочки. Часто это была единственная пища за сутки. Иногда ее приводила к себе домой подруга Лелька. Мать Лели работала на хлебозаводе, и у них дома всегда была гора буханок хлеба. Все же непонятно, откуда, каким образом можно было так воровать при всех этих законах, обещающих «расстрел на месте». Леля совала в руки подруге горячие булки. Для той это было просто целое состояние, ведь они дома ели суп из картофельных очисток, меняли последние вещи на Преображенском рынке на стакан муки, одну картофелину и т. д. А тут целые горы горячих булок!

Вержбицкий жил в деревянном доме. В таких домах с печкой люди страдали меньше, но и для них с конца февраля отпуск дров был прекращен до неопределенного числа. Женщины начали ходить за хворостом в парк Лосиный Остров. В парке в Сокольниках это делать было небезопасно. Вержбицкий отправился в трест зеленых насаждений. Но там ему объяснили, что весь сухостой уже срублен. Тогда он решил твердо дрова воровать, что как-то не к лицу писателю и другу Куприна. Но Вержбицкий был обижен на государство, которое не позаботилось о дровах. За эту зиму он сжег в печке чердачную перегородку своего домика, за что был оштрафован в мае на 100 рублей (средняя зарплата на заводе 500 рублей). «„Московский большевик“ как большую техническую победу отмечает изобретение настольной железной печки. Почему настольной? Чтобы не нагибаться? Глупо» (22 февраля 1942 года).

У Растяниковых в доме № 24 не только не работало отопление, но и отказал газ. Готовить стало не на чем. Приходилось часами стоять у счетчика, висевшего рядом с плитой, и бить по нему чем-то тяжелым. Вылетала искра, газ горел и пропадал. Так Надя варила картошку вечно больной матери. Или ночами спускались в подвал. Там на какой-то общей кухне ночью, когда горел газ, можно тоже было что-то приготовить. Сама Надя от холода, голода и всего прочего на вторую зиму заболела. Все ее лицо и руки покрылись водяными пузырями неизвестного происхождения. Она часами стояла на подоконнике, не решаясь броситься вниз, но жить ей уже не хотелось. Мать не обращала на это внимания или не придавала значения. Когда же все-таки соседка заметила странное поведение девочки, ее отвели в поликлинику. Оказалось, что это у нее от недоедания. Память в виде синеющих на морозе пятен осталась на всю жизнь.

## БАНИ

Вопросы гигиены никто не отменяет в войну, более того, они приобретают особо острый характер, потому что мыться становится непросто. Во время бомбежки бани, например, нужно было покидать. А как их покидать, если ты только что намылился? Этот вопрос обсуждался горячо во время помывки. Наделе никто бани не закрывал, и многие посетители так и не уходили. Дров не хватало. В бане иногда люди покрывались «гусиной кожей». У соседа Вержбицкого зимой 1943 года в предбаннике примерзли волосы, и их нельзя было расчесать. «Надо ходить в баню по субботам: народу много, тепла надышат», – писал Вержбицкий.

С осени 1941 года бани работали с перебоями, а в конце января 1942-го – вообще закрылись. Подобное повторялось той зимой несколько раз из-за отсутствия топлива. Но еще оставались парикмахерские. Они работали в определенном режиме, ведь у них уже отклю-

чили электричество. Ни о каких завивках и «шестимесячных» не было речи, но побриться – пожалуйста. Сегодня странно, неужели нельзя этого сделать дома? Но тогда в силу бытовых условий удобнее было побриться в парикмахерской. Март 1943 года: «...Мыло намазывают кисточкой, смоченной холодной водой (нет тока), пальцы у парикмахерши холодные, как у шимпанзе, изо рта у нее идет пар».

Мыло стало очень дорогим подарком. Мальчик на улице поет: «Ах, зачем я тебя полюбила? Победил ты, как фрица, меня! Подарю я тебе кусок мыла, хочешь – мойся, а хочешь – сменяй!»

Осенью 1942 года в аптеках города появились многозначительные объявления: «Продается средство от вшей». Вержбицкий в дневнике записал: «По Москве разгуливает „госпожа-вошь“».

Ребром встал вопрос соли, спичек и курева. Настолько это врезалось в память москвичам, что даже некоторые из наших родственников в перестройку, когда начали опять исчезать некоторые жизненно важные вещи, сделали такие запасы (вплоть до сухарей), что купленные тогда спички у них закончились только недавно.

В ноябре на Преображенском рынке у спекулянтов стакан махорки стоил уже 10 рублей. «Люди курят хмель, вишневый лист и чай. После чайной папиросы – рвоты и головная боль. В начале войны Мосторг с добра ума расшвыривал запасы табака. Он продавался везде и повсюду... Спички тоже были разбазарены возмутительным образом... И все это безобразие проходит у нас безнаказанно Мосторгу. Доколе?»

Почему-то советский человек всегда и во всем винил работников торговли. Неужели они решали вопросы карточной системы или они отвечали за вечный дефицит? Но именно они были выбраны в качестве непременных персонажей всех фельетонов, иначе кого же высмеивать? Потом их даже в мирное время стали расстреливать. Извечный вопрос: кто виноват? Ясно, что не Мосторг.

Спекулянтов наказывали: за пачку махорки – пять лет тюрьмы. Столько же бабе, продававшей папиросы вроссыпь. Продававшему на рынке папиросы товарищей по заводу – 10 лет с конфискацией. Тем не менее люди наживались на слабостях других. «Сосед уныло сообщил, что купил у спекулянта за 45 рублей 100 граммов махорки в тщательно запакованном пакете. Дома обнаружил, что внутри сено. „Я чуть с ума не сошел. А может быть, и сошел“... В аптеках нельзя купить сухой ромашки и шалфея: все пошло на курево, курят череду и дубовый лист» (декабрь 1941 года). «В кино на экране актер закуривает папиросу. В зале кричат: „Оставь докурить!“».

Тамара Рудковская тогда была высокая, очень худая, почти зеленого цвета девушка: с началом войны у нее начался туберкулез. Однако в обеденный перерыв она часто с «козьей ножкой» демонстративно ходила по цеху. Самокрутка была совершенно пустая – просто кусок свернутой газеты. Рабочие сочувствовали такой молоденькой, но втянувшейся в курение даме, не забывали включить ее в список курящих на месяц: на заводе выдавали махорку – 1/8 от пачки. Тамара эту махорку относил на Преображенский рынок и обменивала на молоко.

Весной 1942 года на улице нередко можно было увидеть мужчин с лупой в руках: наводя солнце на растрепанную папиросу, они ее зажигали. Или «на манер средневекового запорожца куском стали высекали из камушка искры, чтобы заставить тлеть примитивный трут, сделанный из старого бинта» (Вержбицкий).

## НОВЫЙ ГОД

Этот праздник москвичи отмечали, несмотря ни на что. Уже в середине декабря 1941 года нарасхват шли елочные украшения. ВЦСПС и Моссовет устраивали елки для детей в ста

помещениях с концертами, подарками и встречами с красноармейцами. На улицах Москвы продавались зеленые елки из неоккупированного Подмосковья.

Но в середине декабря 1941 года Вержбицкий записал: «А в общем, в эти дни побед и разгрома немцев под Москвой не видно особенного ликования. Радуются все очень сдержанно. Москвичи еще только начинают по-настоящему понимать, какое бедствие ожидало их и от какого несчастья они освобождены. Такие величественные события доходят до нашего чувства и до сознания, когда время несколько отодвинет их в прошлое».

Трамвай тогда стал основным видом транспорта. Осенью перестали ходить подмосковные электрички, метро работало исправно, но оно охватывало мало районов.

Осенью 1941 года в Москве заметно поубавилось людей и машин. Даже в центре города можно было спокойно перейти улицу. «А милиционер все же стоит с бездельным белым жезлом на перекрестке и густо курит» (22 ноября).

22 ноября 1941 года Вержбицкий, часто бывавший в центре города, заметил, что «с мавзолея сняли дурацкий макет особнячка. Дворник сообщил, что Ильича увезли из Москвы на Волгу».

Граждане продолжали стоять в очередях и, несмотря на все предупреждения и угрозы газет, обсуждать происходящее и делиться своими сомнениями. За отсутствием правды было много небылиц. Появились антисемитские анекдоты. Некоторые говорили: «Скорей бы немцы пришли, кончилось бы это беспокойство». Вот услышанный Вержбицким разговор трех женщин. Одна рассказала о том, что в подмосковном колхозе все встали на колени перед немцами. Другая на это заметила, что русский – извечный раб. Но третья возмутилась: Красная Армия весь мир освобождает, а она на 90 % из русских! (январь 1941 года).

Ноябрь 1941 года. «На дворе втоптаны в грязь: детская кукла, доклад Сталина о конституции, кепка и ходики». Прямо символическая картина военной Москвы.

С весны 1942 года город начали убирать, особенно в мае, хотя сами майские праздники были объявлены рабочими днями. И только флаги и портреты вождей показывали, что в стране праздник. На московских улицах появились американские военные с какими-то черными треугольниками под воротниками, могучие и красивые американские пятитонки. Ждали весеннего наступления немцев. Но уже мало кто верил в его мощь. На нашей окраине чистили мостовые и дворы. Разрухи почти не чувствовалось, раненые дома подлечивали. Старались так, как иногда не получалось даже до войны. «Чинят мостовые и тротуары, восстанавливают заборы, красят их зеленой краской, приводят в порядок скверы, посыпают дорожки желтым песком, разбивают клумбы... В нашем переулке повесили на забор три урны для мусора. Этого не было ни в какие времена».

Еще с зимы 1944 года в Москве начались приметы мирной жизни. «На Преображенском рынке подснежники...» (1 мая) «Откуда-то появились кошки. Вчера они верещали на крыше» (27 июня). Домашние животные в Москве тяжело переживали войну. Уже в ноябре 1941 года появилось много бездомных, вернее, выброшенных породистых собак. Они грелись в магазинах, глядя на людей тоскливыми глазами. В Елисеевском гастрономе истощенная взъерошенная немецкая овчарка смотрела на всех голодными глазами.

Пережив тяжелую и голодную первую военную зиму, люди осознали, что их ждет долгая война, и стали готовиться к новым испытаниям. Летом 1942 года вся Москва взялась за лопаты и грабли. «Копают грядки, как попало и где попало. Видел три жалкие грядки у самого тротуара в Газетном переулке, у окон подвала, не огорожены» (14 июня 1942 года).

В группоме писателей, как и на многих предприятиях, распределили огороды в городе и ближайшем пригороде. Мы слышали рассказ одной старушки на Преображенском кладбище, что им, тогдашним школьникам, выделили такие участки на кладбище близ нынешнего Олимпийского центра на проспекте Мира. Как страшно и неприятно было детям копать огороды на могилах! «В городе только мостовые и тротуары остались неприкосновенны,

остальное под картошкой. В пригороде по воскресеньям чистый муравейник» (июнь 1942 года). Писателям выделили участки в районе подмосковного колхоза «Заветы Ильича», с мая там начались коллективные работы. «*В группоме объявление:* „В воскресенье выезжайте на коллективный огород для окучивания картошки. Захватите с собой обыкновенные столовые вилки“».

Статья 79 УК РСФСР карает за огородные хищения до двух лет. Но ведь надо поймать! Второй военной зимой москвичи стали опухать от голода. Были не такие холода, как в предыдущую зиму, зато и паек резко сократили.

Особенно тяжело приходилось инвалидам. Они появились в Москве уже менее чем через год войны, страшные, обезображенные. Но к их виду москвичи привыкли быстро, перестали замечать, как повседневность жизни. Как это страшно, привыкнуть к виду человеческого страдания... Особенно много инвалидов и калек собиралось на Преображенском рынке, где они спекулировали чем могли. Иначе прожить им было невозможно. Об этих жертвах войны до сих пор не любят вспоминать, как и о калеках сегодняшних войн. Самое ужасное наследие войны – обреченные на медленную смерть никому не нужные калеки. Калеки-алкоголики...

С 17 июля 1941 года в Москве, с 18-го – в Ленинграде, с 19-го – в Московской области по приказу Наркомторга СССР вводилась карточная система «на некоторые продовольственные и промышленные товары» (приказ от 16 июля 1941 года).

18 октября уже с четырех часов утра люди занимали очереди за хлебом. Стояли по 5–6 часов. «В очередях драки, душат старух, дают в магазинах, бандитствует молодежь, а милиционеры, по два-четыре, слоняются по тротуарам и покуривают... нет инструкций. За несколько дней распродан весь препарат „Авариприна – семенная вытяжка на основе спирта. Около винных магазинов давка: продают дрянное разливное вино. В Черкизове в „Главспирте“ продавали водку – до смерти задавили двух стариков». Грустно: даже когда у стен Москвы стоял враг, люди насмерть давили друг друга в очередях за водкой. Интересно, возможно ли было такое в 1812 году?

Вот интересная картинка из дневника от 21 октября. Преображенская площадь. Полдень. Пережита «паника». Люди уже не мечутся, они выстроились опять в очереди. За облаками страшный пулеметный огонь. Гудят самолеты, дрожат стекла, в трехстах метрах от магазина на берегу Яузы «начинают гневно и оглушительно рывкать зенитки. Где-то бухают фугасные бомбы. Но ничто не изменилось на площади. Недвижно вытянулись очереди, особенно большая за портвейном (18 рублей 60 копеек пол-литра), не дрогнула и очередь за газированной водой. У витрины магазина кучка внимательно читает газеты под стеклом о том, что под Малоярославцем мы отступаем. На остановке юноша читает „Севастополь“ Ценского. Из рупора летят звуки „Богатырской симфонии“ Бородина. Плетется пьяненький. Красноармейцы тянут пиво. Куда делись в Москве нервные люди?».

И что героического в этих бесконечных очередях, кроме бесконечной безысходности и горя? «Портвейн в изобилии выброшен на рынок. Занимают тысячные очереди», – запись от 21 октября. А немцы у стен столицы. Откуда эти тысячные очереди, если по утверждениям люди работали по 10–11 часов? Непонятно. Как вообще успевали и работать, и стоять в этих очередях? «В Сокольническом парке около Зеленого театра с ночи собираются тысячные очереди с мешками. Дают муку по пуду на карточку. Люди складываются и берут прямо мешками по 70 кило. Тащат на себе, вымазанные мукой до трамвая. Идет дождь, и мука на пальто превращается в тесто». В эти дни в магазинах Москвы еще можно было что-то купить: «Видно по всему, что правительство решило выбросить на рынок продукты с совершенно ясными целями. Но ни соли, ни спичек». Нам спустя 60 лет это представляется как еще одно доказательство готовящейся сдачи города. Только в этом случае, когда и речи не было о возможной долговременной блокаде, осаде, можно было позволить себе продать

массу продуктов населению. А в городе люди были в неведении. Надеялись и боялись. Были и такие, кто откровенно злорадствовал. По воспоминаниям Растяниковой, один из жителей их коммунальной квартиры в доме № 24 каждое утро выходил на кухню и с ехидной улыбкой говорил: «Ну что, завтра по радио скажут Гутен морген?» Вероятно, это продолжалось не один день, потому что девочка запомнила соседа на всю жизнь.

Из своего военного детства Надя также запомнила длиннющие очереди, из которых она панически боялась уйти. Женщины, жалея несчастного ребенка, иногда уговаривали где-нибудь отдохнуть, но она никогда не уходила, видимо, твердо выучив железный закон советских военных очередей: обратно не пускали. Так и стояла часами. А мать все время болела, старшие сестры работали, отец был мобилизован, и вся еда ее и матери зависела от нее. «У меня цифры, сделанные чернильным карандашом на ладонях, запястьях, тыльной стороне ладони: 31, 62, 341, 5064. Это места, которые я занимал в разных очередях... у всех такие же „знаки антихриста“», – писал Вержбицкий.

В начале ноября прекратилась торговля по коммерческим ценам.

Конец ноября 1941 года. На Потешной улице на дверях одного дома объявление: «Вытрезвитель закрыт». Уже было не до таких заведений.

«В закускойной подозрительная публика и военные хлещут стакан за стаканом, мрачно всовывая жетоны, и ожидают, как голодные собаки у кости. Совершенно не чувствуется, что в 60-100 км идут потрясающие бои, полукольцо врага все теснее приближается к столице». Довольно неожиданно для наших представлений о тревожной осени 1941 года.

В конце декабря Мосвинбаза начала прием от населения пустой посуды из-под вина. На каждого москвича выдано по две бутылки вина. 11 января 1942 года: «Начали продавать водку. Сегодня возле нашего магазина стояла за водкой очередь в 500 человек. Стояла восемь часов. Привезли. Из очереди получило 400 человек. Остальное расхватили военные без очереди (200 человек)».

Описаний пустых прилавков полны многие страницы дневника Вержбицкого. Это была суть выживания, вопрос продуктов стал вопросом жизни и смерти.

22 ноября. «В ГУМе работает едва десяток магазинов – галантерея. Мрак, пустота, тишина».

24 ноября. «Старуха в трамвае: „Карточки-то дадены, да что на них наложено!“».

Почти всю войну не сходят со страниц дневника Вержбицкого колхозники, торгующие на Преображенском рынке. Порой он их просто ненавидит, сравнивая чуть ли не с предателями и пособниками фашистов. Приводит примеры возмущения и других граждан тем, что у кого-то есть продукты, но они их продают и наживаются, как проклятые частники. За ростом или падением колхозных цен Вержбицкий следил, как за сейсмографом на опасном участке.

Декабрь 1941 года. На рынке лейтенант ругает колхозницу за бешеные цены. (1 кг картошки – 10 рублей. Для сравнения: зарплата контролера ОТК – 500 рублей, то есть 50 кг картошки.) Женщина (или «баба», по Вержбицкому) кричит: «Не хотят, пусть не берут! Они сами набрасываются, как собаки! Рвут друг у друга. А нам никто не запрещает продавать по своей цене! Мы не государственные! Зови милицию, я не пужаюсь!»

«Мы не государственные!» – как много в этом слове...

22 декабря 1941 года. «У колхозников подешевела картошка. Так они отзываются на наши победы. Немцы отступают, и они отступают». Это уже почти угроза. Почему спекулянту за пачку махорки – пять лет тюрьмы, а колхознику, который дерет за 1 кг соленых огурцов 20 рублей, – ничего?

Эту разницу между человеком, своим трудом выращившим урожай, и спекулянтом никто не хотел тогда видеть. Кондукторша зашла в перерыв на рынок, и гремит ее голос: «Ладно, пусть эти живодеры только отсеются, тогда правительство „уравняет“ их!» Как привычно и просто отобрать чужое и как трудно вырастить что-то самому. Это впервые понял

на своем огороде Вержбицкий, собирая свой первый в жизни урожай. Он даже задумался (весной 1942 года): «А ведь в сущности мужики правы: кто дал нам право искать у них благоденствия? Цены устанавливаются стихийно». Летом 1942 года на Преображенском рынке появилась торговля «с рук чем попало».

Здесь все можно было продать, обменять на еду. Н. А. Растяникова серьезно считает, что этот рынок спас их семью от смерти, потому что хоть что-то, но продать здесь было можно, а значит, хоть что-то купить из съестного.

«На рынке милиционеры тащат и штрафуют несчастных старушек, вынесших продавать свое жалкое барахлишко, а ловкачи-спекулянты продают заводскую продукцию и полуценное по благу из продмагов». Эта «барахолка» существует здесь до сегодняшнего дня. И до сих пор с ней борется милиция. До сих пор здесь такие же старушки со своим барахлишком...

«Поваренная военная книга». Интересно было бы такую выпустить, а еще лучше накормить по ее рецептам современного человека. Не исключено, что путь познания истории тоже лежит через желудок...

В войну москвичи очень быстро стали осваивать эти новые кулинарные рецепты. В марте 1942 года они уже знали, что «из мороженой моркови получают недурные котлеты», летом поняли, что «морковная ботва – тоже пища и недурной материал для щей».

В аптеках продавались восстановители для волос, комнатные градусники, губная помада, кружочки для мозолей, самосветящиеся ромашки и ногтечистки. В канцелярских магазинах чернила стали продавать почему-то в огромных бутылках – по 15 литров. В галантерейных магазинах рядом с пудрой и духами (флакончик–135 рублей, как ученическая зарплата на швейной фабрике) появилась примета времени – наконечники для костылей.

Москупторг возобновил широкую скупку у населения вещей (январь 1942 года). «... Потекут к нему вещички, спертые в квартирах эвакуированных», – пишет Вержбицкий. Он долго не мог понять, к чему сейчас деньги, что на них можно купить, кроме остатков галантереи. К зиме 1943 года понял, что «без блага, без товарообмена, без взятки сейчас ничего не делается. Богат только тот, у кого есть вещи. А вещей становится все меньше».

Летом 1944 года все усиленно искали примет окончания войны, страстно ждали победы к осени. Вот и дети меньше стали играть в эти военные игры. Новая примета: не играют, значит, война скоро кончится. «Мы исподволь незаметно входим в мирную жизнь», – пишет Вержбицкий. О войне напоминают салюты, которые теперь часто гремели над городом, отмечая победы нашей армии. В феврале на фасаде Дома СНК в Охотном ряду в люльках рабочие пульверизаторами сдирали разноцветную маскировку, на аллее Сокольников от метро к парку загорелись все фонари, как до войны. Город демаскировался. В городе расходилось огромное количество краски. «На каждом шагу видишь маляров со спринцовками, кистями, ведрами. Красят фасады даже маленьких домов. Поголовный внутренний ремонт в казенных помещениях. Все чистится, скребется, подновляется. На Тверской рабочие несут на плечах колоссальные, выше человеческого роста, заново позолоченные буквы для магазина. К вечеру уже сверкают надписи: балык, торты, свинина, шампанское. У трамваев около номеров снова появились разноцветные фонарики, определяющие маршрут. Это все очень веселит уличный пейзаж...» Но не надо обольщаться: для большинства московского населения все это так и осталось недоступным. В 1947 году был страшный голод. Никто и не думал отменять карточки, а коммерческие магазины, все эти балыки, шампанское, предназначались совсем для другой публики.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.